

БИБЛИОТЕКА



МОСКВА



№ 9

1991

*Константин БАЛЬМОНТ*

**ГДЕ МОЙ ДОМ?**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 9

Издается с января 1925 года

К. Д. БАЛЬМОНТ

# ГДЕ МОЙ ДОМ?

ОЧЕРКИ

(1920—1923)

Москва. 1991

Константин Дмитриевич БАЛЬМОНТ  
(1867—1942)

В самом начале XX века Константин Бальмонт был всероссийски знаменит, осенен славой как один из родоначальников русского символизма. Его стихи, пленяющие своеобразной изысканностью, чистой мелодикой и редкостной «магией звуков», высоко ценились читателем и критикой, привлекали таких композиторов, как Танеев и Глиэр, Гнесин и Мясковский, Прокофьев и Асафьев. Поэзия Бальмонта ярка и неповторима, и все его творчество пронизано стихийной могучей жизненной энергией, тончайшим чувством и свежестью восприятия.

Поэт милостью Божьей («Я — поэт и был поэт и поэтом я умру»), Бальмонт остался в истории литературы личностью светлой и незаурядной. Уже при жизни поэта ходили легенды о его причудах и лирических приключениях, его тяге к экзотическим странствиям. Неутомимый путешественник (он совершил два или три полных кругосветных voyages), повидавший многие прекрасные уголки земли, Бальмонт впервые открыл русскому читателю новые неведомые миры: писал о своих поездках, переводил поэзию тех стран, которые посещал, культуру которых знал и любил. Однако куда бы ни заносила его судьба, сердцем своим поэт неизменно оставался в России, в Москве. И теперь, из нашего далека, Бальмонт видится прежде всего не в Париже и не на Гавайях, но таким, каким его увидел Борис Зайцев: «поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по <арбатскому> тротуару, приветствуя весну и милых женщин».

Вопреки расхожим суждениям, что-де Бальмонт был певцом «только любви» и только «лириком современной души», поэт обладал и социальной зоркостью, и высоким гражданским чувством. Не забыты его позиция в преддверии первой русской революции, пламенная защита рабочих и студентов, выступления 1901—1917 годов. И то, что отечественная социал-демократия

часто использовала стихи Бальмонта в революционной пропаганде, вовсе не случайность.

4 марта 1901 года поэт оказался участником знаменитой студенческой демонстрации у Казанского собора в Петербурге, закончившейся безжалостным разгоном и гибелью нескольких студентов. Присоединяя свой голос к коллективному письму русских писателей, «выражающих опричникам свое негодование», Бальмонт написал стихотворение «Маленький султан», мгновенным «самиздатом» разлетевшееся по России. Сильное впечатление произвели на поэта и события 1905 года. Вольнолюбивый и гордый, восстающий против любых форм угнетения и произвола, поэт считал для себя обязательными понятия личной и общественной чести, верности своему жизненному долгу. Сборники К. Бальмонта «Злые чары» (1906), «Стихотворения» (1906), вышедшие в Париже «Песни мстителя» (1907), с предельной открытостью выражающие позицию автора, были запрещены и конфискованы в России, а сам поэт поплатился за это семилетним вынужденным отъездом за границу. Лишь в 1913 году, после амнистии к 300-летию дома Романовых, Бальмонт смог вернуться на Родину. Так закончилась первая его эмиграция. Вторая — оказалась пожизненной...

Как и большинство русских интеллигентов, Бальмонт с нетерпением ждал грядущую революцию. Но когда она стала явью — не смог примириться с тем, что принес Октябрь помимо декларируемых высоких идей: с насилием, гибелью людей, беззаконием, попранием идеалов... В июне 1920 года Бальмонт вновь покидает Россию, и вся оставшаяся его жизнь вне Родины стала для поэта медленным умиранием, исключаяющим даже надежду на возвращение.

Константин Дмитриевич Бальмонт умер в оккупированной Франции в конце 1942 года после долгих лет болезни, нужды, горя и одиночества.

Книга прозы К. Бальмонта «Где мой дом?», из которой взяты публикуемые нами очерки, была издана в 1924 году в Праге. Кроме того, что книга эта — замечательный образец литературы, она — яркий человеческий документ: крик души обреченного на гибель большого русского поэта, историческое свидетельство великих трагических лет нашей отечественной истории.

Александр Д. РОМАНЕНКО



## БЕЛЫЙ СОН

### 1

Вот уж несколько дней с парижским небом что-то случилось необыкновенное. Я люблюсь на снежные белые крыши, прохожу по хрустящему снегу, ломаю тонкие льдинки. И нежно-молочная даль своей мглой говорит о силе снега, о внутреннем колдовании зимы. Париж хорош всегда, а облеченный в необычное, он чарует особенно. Лица проходящих женщин дышат торжеством, точно это они набросили такую подвечную вуаль на зримое.

Но я знаю. Это не надолго. Не всякий наряд умеет носить парижанка, хоть во многих она хороша. Этот наряд с нее спадает, потому что он не для нее. Много у нее и силы, и прелести, но не для нее эта чара, моя северная единственная святыня снега и жуткий трагизм льда, то тихий, то звонкий, но всегда ворожащий.

Моя мысль уходит далеко. Туда, в белую Москву и подмосковные места, где мне было трудно, как никогда, но где душа моя пела, где в жестокой раме единственных судьбинных испытаний я терзался, я изнемогал, но где душа моя пела.

Тринадцать месяцев тому назад. Лютый зимний холод. Подмосковное местечко Н., все занесенное снегом. И березы, и дубы, и липы, и ели в белой бахrome. Дома холодно. И как ни морозно на дворе, надеваешь рваную шубу и идешь греться среди снежных пространств, усыпанных алмазами, покрытых осыпью хризолитов, на которые смотришь — и вот цветной сон, голубой и алый, и белый завладевает через глаза сердцем, и душа уходит в мир, где нет ни холода, ни тепла, а лишь цветистые видения и ткущая сила воспоминаний и надежд.

Но прогулка прогулкой, а мне нужно сделать дело, довольно трудное и безотложное. В доме нет воды. Водопровод, снабжающий все дома местечка водой, замерз. Ни в одном доме нет воды, кроме двух домов, при которых есть колодец. Туда и ходят за водой все. И колодцы не всегда в силах всем дать воды. Приходится ждать, пока снова, без конца вздымая и опуская спасительный рычаг, вызовешь подъем благодетельной влаги. В одном колодце вода мутная и пахнет болотом. Я ту-

да не хожу. В другом вода хорошая, всегда свежая, но нужно, — это я сосчитал не однажды, — качнуть тридцать или сорок раз, прежде чем вода начнет течь, и нужно целиком качнуть девяносто или сто раз, чтобы ведро наполнилось до краев. Если же, не наполнив ведра, вздумашь отдохнуть, вода уходит вниз, и нужно снова качать и качать, как будто этой предварительной работы не было.

Мое сердце расширено. Такая работа совсем не для меня. Но об этом не приходится думать. Воды нет, а еду приготовить нужно. Та, кого я зову Колибри, бьется около непокорной печки, потому что сырые дрова не загораются. Девочка моя, маленькая поэтесса Мирра, оцепеневшая от голода и холода, лежит в постели. Я беру два пустых ведра, — у нас только одно, но, спасибо, хозяйка добрая и одоляет еще другое, — принимаю небрежно-важный вид и иду за водой. Я радуюсь, что приходится идти за водой утром, — там недалеко от колодца собачья конура; я по природе своей — кошка и редко люблю собак, о чем собаки осведомлены своим чутьем и наблюдательностью и отвечают мне сообразной взаимностью, иногда ведущей к осложнениям, — но днем собака привязана и, враг цепей, я благословляю ее цепь. Я даже не смотрю в ее сторону. Я мурлычу про себя какую-то неопределенную песенку, ставлю ведро и начинаю качать.

Все же, это довольно трудное занятие. Ну-ка, еще, еще. Я вспоминаю народный заговор на тридцать три тоски и загадываю число тридцать три. Превосходно. На тридцать третьем взмахе тонкая струйка с успокоительным звоном падает на дно ведра, и остальная работа не так уж трудна. Одно ведро готово. Горе, что надо упустить воду. Но если бы мне кто и подставил тотчас второе ведро, не хватит силы на столько взмахов подряд. И руки замерзли. Я вынимаю их из перчаток, отогреваю дыханием, снова надеваю перчатки, снова принимаюсь качать.

Но второй раз колодец менее великодушен и не откликается на загаданное число. Тридцать пять, сорок. Нехорошо. Сорок два — вода течет, а я радуюсь на то, что и в данном случае со мной символика: ведь в древнем Египте на суде Озириса число судей было сорок два.

Однако, почему-то сегодня я очень устаю. Может быть, это оттого, что я еще ничего не ел. Я смотрю с мучением на свое второе ведро, которое никак не хочет наполниться до краев. «Ну, пожалуйста, пожалуйста», говорю я ему, как будто это от него зависит, чтоб я перестал задыхаться, чтоб сердце мое укротило бешеную свою пляску. Девяносто восемь. Сто. Наконец.

Я почти падаю на сруб колодца, и теперь, когда не нужно больше делать усилий, я издаю громкий стон и повторяю его несколько раз. Так легче, но мне страшно, что кто-нибудь в чужом доме услышит мой голос и выйдет посмотреть, что там такое. Я замолкаю. Тяжело дышу. Вот уж и легче. Я беру ведра, я положительно горд и счастлив. Обрызгивая себя и справа, и слева, я начинаю свое обратное шествие, но через каж-

дые две-три минуты осторожно ставлю ведра на промерзлую дорогу и отдыхаю. До дома мне почти полверсты.

Снежинки играют. Пустынно и бело кругом. Хорошо человеческой душе, когда она спешит к другой и несет ей что-нибудь благое. Сейчас меня будут жалеть. А я буду любить и жалеть ту, которая жалеет, и еще тех желанных, которые далеко, с которыми я разлучен.

## 2

Я сижу в своей комнатенке у стола, на котором в стройном порядке лежат мои любимые книги. Их не так много, но каждая говорит с душой. Мудрость Индии, «Веды», мудрость Парсов, «Зенд-Авеста», маленькая книжечка, отрывки мыслей лучезарного Гераклита, большой том Евангелия в подлиннике, на этом странно волнующем, неправильном и живописном греческом языке, большие тома драм Кальдерона. Испанская речь кажется вдвойне горячей и поющей в этой холодной моей малой храмине. Я смотрю на раскрытую страницу «Волшебного Мага» и я смотрю также на морозное окно.

Есть сказочная сила в морозных узорах окна. За стеной слышен кашель той, которая мучается около непослушной печки. И мне бесконечно жаль ее, но я не могу помочь. Я знаю, что и она, и мой ребенок, и я сам, мы в снежном царстве зимы и, голодные, стынем, и в царстве безбрежного злосчастья, где убивают и умирают. Все это знаю и стыну. Но цветные морозные узоры, играющие перед моими тоскующими глазами и отделяющие меня от безмерного белого мира, что там, за окном, говорят мне о призрачности всего, что я переживаю, и о действительности чего-то иного, большого, безмерного, поют о независимой красоте мироздания. Я вижу в этих узорах причудливые леса; оттуда все исходит и туда все возвращается. Я чувствую, как высокое Солнце идет своим путем, далеким от моих маленьких дорог. Я знаю, что, если я верю в путь Солнца, тогда и мои маленькие дороги совпадают с этим великим путем. И не холод стынущего тела я слышу, а чувствую, как мысли мои полны цветных узорных голосов.

Мой взгляд падает на испанскую страницу. Люцифер, ниспавший с неба и принявший человеческий лик, говорит Киприану:

Si, que de una patria soy,  
Donde las ciencias más altas  
Sin esturdiarse se saben.

Да, я из родины такой,  
Где тайну знаний высочайших  
Без изучения познают.

Кто видел Небо и видел Преисподнюю, знает все.

Хорошо человеческой душе, когда она несет другой душе что-нибудь благое. Пусть это будут только два жалкие ведра воды. И быстрые, хотя и окоченевшие, пальцы начинают писать. Сцена за сценой, я перевожу «Волшебного Мага». И тень Кальдерона усмешливо утешает меня, что не только мои русские стихи верно передают его испанские чувства, но что также некий человек даст мне за эти страницы какие-то монеты, а я на них куплю у скупых и прижимистых мужиков некие земные поросли и не помру с голода и накормлю голодных.

3

Но два ведра воды. Вы думаете, их хватает надолго, когда нужно и готовить еду, и пить, и мыть посуду, и самому быть чистым?

Лунный вечер, а воды в доме опять нет. Моя двенадцатилетняя поэтесса, поевши, совершенно воспрянула духом и убеждает меня снова пойти за водой, на этот раз вместе с ней. Я беру свои классические ведра, она берет большой кувшин, и мы идем. Я радуюсь и тому, что мы щебечем, весенней прихотью наших душ опровергая окрестную зиму, и тому, что моя девочка любит собак, — следственно, и они ее любят, следственно, спущенная с цепи собака не раздерет на мне последние прикрытия моего тела.

И действительно. Вот этот пес, который не любит ни кошек, ни не любящих его людей. Он обнюхивает ветром подбитую детскую шубейку и самым учтивым образом повизгивает и виляет хвостом. Тем временем я овладеваю холодным рычагом, но так как около меня живое, милое существо, я не считаю взмахов руки и не играю в числовую символику.

— Второе ведро — я, — кричит ревнивый детский голос.

— Второе ведро — ты, — соглашаюсь я охотно.

И мы идем, злополучные водоносы, под высокой Луной, среди оснеженных елей. И мы снова возвращаемся к колодцу, чтоб накачать воды уж и назавтра.

Я тащу свои ведра. Она тащит свой кувшин. А чтоб нам не было скучно, мы превращаем небо и землю в сказку. Луна глядит из огромного белого облака.

— Смотри, — говорю я, — это глаз кита.

— А ниже — большая змея, — говорит она.

— Они плывут, — говорю я.

— Они дерутся, — говорит она со смехом.

Мы минутку молчим.

— А мы сами едем в кибитке, — говорит девочка. И вот именно этого, только этого слова хотела моя душа. Она в одну секунду раскрылась от этого слова: «в кибитке».

Несколько мгновений молчанья и белой зачарованности, и я говорю:

— Малютка, я тебе скажу стихи.

Она идет и ласково слушает. И оба, ступая осторожно, мы стараемся не расплескать воду. И оба мы в эту минуту так любим друг друга. Лунный призрак, она слушает. Лунный призрак, я говорю.

Луна глядит, как глаз кита,  
Который, жутко белый,  
Плывет и лоскутом хвоста  
Бьет в дальние пределы.

И нет, не бьет хвостом тот кит,  
А в воздух упирая,  
Плывет, и глаз его, как щит,  
Среди морей без края.

Ты думал, это облака  
Плывут лазурью ночи.  
А то китовьи лишь бока,  
И с ними даль короче.

Я еду-еду. Мерзлый вид  
Налево и направо.  
И виснет круглый сталактит  
Безмерного удава.

Схлестнулся с белым он китом,  
И вгрызлось чудо в чудо.  
Расстался кит с своим хвостом,  
И сдавлен змеей, как грудя.

Молчу. Смотрю. И нет кита.  
И больше нет удава.  
Лишь голубая пустота  
И золотая слава.

## ФАКЕЛ В НОЧИ

Я живу среди чужих. Уже семь месяцев я живу в Париже и люблю этот красивый город, независимо от его теперешних жителей. Мне нравятся также и жители его. Приветливые, умные, совсем не обременительные и не обременяющие собою иностранца. Я жил в Париже годами, и у меня есть здесь добрые знакомые. Есть и такие, что мы считаемся друзьями. Если я захочу, я могу пойти в гости к лучшему французско-

му санскритологу или к превосходному знатоку древнего Египта, или к французу, безукоризненно говорящему по-русски и влюбленному в Гоголя, или к двум-трем лучшим французским поэтам. Меня встретят ласково, со мной будут говорить учтиво и умно. А изучатель Гоголя даже будет говорить по-русски. Но отчего же, когда я уйду от этих своих друзей, за мной закроется дверь, совсем не резко и не громко закроется дверь, а в ту же секунду я услышу в душе, что вот в этой моей тоскующей душе захлопнулись целые ворота?

Между нами не может быть настоящего разговора, ибо нет соучастия душ. Я знаю французский язык, французские особенности, французское искусство, подробно знаю французскую литературу. Они не знают того же русского. И быть может, только тот один, который любит Гоголя, поймет часть меня, но не подойдет ко мне вплоть, потому что между нами волны событий, океанская буря разнородности.

Я рад, что со мной вежливы. Но не нужен я парижанам низачем. А нужны ли они мне, об этом я молчу, из скромности и вежливости.

Здесь есть русские. Мне говорят, их много. Кто говорит, их тридцать тысяч, кто утверждает, что их целых сто тысяч. Допустим, что их тридцать тысяч. Кто они, эти десятки тысяч людей, для которых, как и для меня, первые слова, услышанные в детстве от родной матери, были словами красивейшего могучего русского языка? Это — дружное самосознающее себя целое или арифметическая сумма? Если целое, в чем же оно проявляет себя? Не в том ли, что лучшие писатели, поэты и художники, перекочевавшие из безжалостной русской действительности в Париж, живут здесь, как полунищие, нуждаясь в самом необходимом и не находя применения для своего гения, таланта и трудолюбия?

Нет, здесь целого нет, а есть лишь арифметическая сумма, причем слагаемые — с одной стороны, скромные единицы, с другой — единицы с уважительным количеством нулей по правую сторону. Взаимобеседа вряд ли тут возможна.

Я хотел привести несколько примеров здешнего своеобразия душевной арифметики. Но это удушливо.

Представители честного русского мышления и свободного русского творчества систематически истребляются в современной России. Прямо и косвенно их просто-напросто там изводят. Не такими свирепыми средствами, но прямо и косвенно их изводят и здесь. Коммунистическая блокада творческой мысли — там, буржуазная блокада художественного творчества — здесь.

Когда безжалостный Старый Год кончился и на смену ему пришел бессердечный Новый Год, и потом, все эти томительные недели, когда меня преследовало ощущение пустоты и бесполезности изгнаннической жизни, меня ласково преследовало также одно воспоминание, три благих призрака в раме жуткой зимней ночи и неоглядной обреченности. Три человека, которых я не знаю и не узнаю никогда, но которые одну

минуту были со мной человечески добрыми. Три солдата — красноармейца.

В том подмосковном местечке Н., где я провел часть зимы в 1919-м году и где я погибал со своими от голода и холода, был однажды особенно тяжелый вечер. Та, которая делила со мной все случайности жизни и уже успела перенести три воспаления легкого, несколько часов подряд безуспешно раздувала печку, чтобы согреть промерзшие комнаты и приготовить еду. Но сырые дрова не хотели гореть, и согреться было нельзя, и поесть было нечего, и час за часом проходил в бесполезной борьбе с непослушным огнем, и мучительный кашель той, которая имела мужество не жалеть себя, терзал меня нестерпимо, терзал меня тем более мучительно, что я хотел помочь и был бессилён помочь. Если женщина не может раздуть огонь в печке, мужчина ли это сумеет.

Еще, и еще долгие усилия. Еще, и еще срывный кашель и тоскующие вздохи. Я подхожу и говорю:

— Брось, все равно ничего не выйдет. Мы можем сегодня обойтись без еды.

— Мы можем, — рыданием раздается ответ. — Девочка не может, она должна поесть.

Девочка давно уже, истомившись ожиданием и голодом, легла одетая на постель, чем-то прикрылась и дремлет.

— Мама, — лепечет она в полусне, — брось. Я не хочу есть.

Мгновенье молчания.

— Мама, скоро будет готова еда?

Мать бессильно садится на пол около тлеющих, но не горящих дров, и заливается долгими безмолвными слезами.

Я делаю несколько шагов в этой холодной полутьме и чувствую, что верно так ходят лунатики. Я чувствую также, что нужно чем-то на время пресечь попытку. Я надеваю шубу и шапку, невнятно произношу какие-то утешения и как пьяный выхожу из дома.

Что ведет иногда человека, как не тайная благая сила, о нем заботящаяся? Все кругом спало. Пойти не к кому. Уже ночь. Зимняя стужа. Белесоватая снежная тьма. Хотя темно, а все же что-то видно, не только громады оснеженных елей. Там, вдали, разве нет чего-то, что зовет?

Эти последние слова, только что мною сказанные, суть поздний те-перешний домысл. Тогда я просто пошел вперед, как заводная кукла, с несознаваемой, но чувствуемой, мгновенной радостью. Там вдали был огонек, мерцавший и пропадавший под ветром и снова загоравшийся.

Я дошел до огня. Это около замерзшей водокачки, охраняя ее от неведомых злоумышленников, три солдата развели костер и грелись и молча смотрели в прыгающее пламя.

Не знаю, откуда у меня явились те слова, которые я тогда сказал, но, вплоть подойдя к костру, я им сказал:

— Товарищи, хозяйка моя сидит сейчас и плачет около печки, и никак не может развести огонь. Дайте мне какую-нибудь головню от вашего костра.

Солдаты молча посмотрели на меня. Один опустил голову, как бы чуждаясь меня. Другой сказал:

— Да берите, товарищ, любую.— Третий встал и, разгребая какой-то палкой костер, вытащил полуторааршинную, лишь наполовину обгорелую, пылающую доску и сказал:

— Вот, эта лучше всех.

— Вы курите? — спросил я.

— Курю.

Я вынул из портсигара две остававшиеся там папиросы и протянул минутному своему другу.

— Нас трое, — сказал он.

Но моя левая рука уже доставала из кармана шубы коробку, где было несколько папирос. Я их отдал все, и глаза всех троих светились благодарностью.

Я шел по пустынной снежной улице, и в белесоватой ночи ярко пылал под ветром странный мой факел. Дикарь, впервые несший к себе огонь, вряд ли был счастливее меня. Через время, показавшееся мне минутой, печка пылала, и еда была готова.

Кто они, эти трое, и что с ними сейчас? Угнали ли их на один из бесчеловечных фронтов и они давно уже убиты? Или они — в злой ткани, которую соткали и ведут они, но не они?

Не знаю. Но живы они или мертвы, мое сердце чувствует к ним только братское устремление.

## ЗАВТРА

1921. VI. 24

Завтра минет ровно год с того дня, как я простился с моей родной Москвой. 25-го июня 1920-го года я уехал, через Петербург, в Нарву и в Ревель. Полный круг из двенадцати месяцев. Я прожил месяц в Ревеле. Я узнал там, что Европа наших дней — не та, свободная благочестная Европа, которую я знал целую, достаточно долгую, жизнь, а исполненная духа вражды, подозрений, перегородок, преград, равнодушная, бездушная пустыня, без духовной жизни, без вольного гения, который озарял бы жаждущую душу неожиданным новым светом. Я ушел из тюрьмы, уехав из Советской России и, конечно, в сравнении с тем невероятным Сатанинским царством, которое представляет из себя Россия текущих дней, Европа, начиная ее хотя бы с Эстонии, царство благоденственное. Но это только на те дни, которые нужны замученному человеку,



чтобы опомниться после трех лет невероятного кошмара. Душа хочет больше, чем чистое, сытое тело и основные данные уравновешенной, внешне свободной жизни. Она хочет высокой правды и неустанной пряжи творческого духа, она хочет чистого воздуха доверия и полетных созиданий. Где они? Их нет. Целых шесть лет люди убивали друг друга, хитрили, лгали, возвещали великие обещания, из которых ни одного не исполнили, созидали то тут, то там неправосудные отдельные богатства, превращая убийство и грязь в круглые капиталы, и, без конца, без конца пороча слово недостойным его употреблением, без конца, без предела уходили и уходят в марево духовного оцепенения, в обостренье звериной вражды — страны против страны, народа против народа, класса против класса, мысли против мысли, человека против человека.

Изойдя из проклятой берлоги, где дьяволы мучают всех, кто на них не похож и не хочет походить, я пришел к людям, которые забыли, сколько достойной радости в том, чтобы помочь другому и встретить приходящего с светлым доверчивым лицом.

Кто скажет одно слово: «виза», тот скажет «тюрьма», тот скажет «поднадзорный», скажет «прочь», скажет «издевательство». Он скажет еще много оскорблений, человек, имеющий неправосудную возможность требовать у меня визы, у меня, у свободного человека, к которому этот, нового образца, плантатор возможностей подходит с арапником в руке.

Первый мой шаг в нынешнюю Европу был ознаменован хлопотами о визах. И если Франция тотчас же, через благую весть телеграфа, гостеприимно раскрыла мне свои двери, Англия сделала полицейское лицо и убила во мне желание ехать в эту, когда-то мне желанную, страну, а малоумный немецкий консул города Ревеля, пообещав дать мне визу, в последнюю минуту чего-то испугался, налгал мне, и когда очередной пароход отбыл в Штеттин, в нем остались четыре, незанятые, мной оплаченные, койки, и в улетающем дыме этого корабля развеялись мои 20 000 эстонских марок, добытые, можно себе представить, с какими трудностями. А через несколько часов после отплытия парохода один мой приятель случайно познакомил меня с находившимся тогда в Ревеле вице-президентом германского рейхстага Вильгельмом Дитманом, и этот честный добрый человек, узнав о моем злополучии, тотчас подошел к телефону, разобрал консула, сказал ему, что он слепец, не умеющий различать то, что у него перед глазами, и приказал ему тотчас же дать мне визу. Виза тотчас и была мной получена — через шесть часов по отбытии моего корабля, а следующего пришлось ждать еще две недели. Нужно было соединение двух таких имен, как Бальмонт и Дитман, чтобы произошло звездноносное ниспадение с невозможного неба того дьявольского уродца, который называется женским именем Виза. Сколь удобно и легко, значит, существовать путешествующим русским, лишенным возможности создать столь планетарное событие. Это было первое

мое ознакомление с новой Европой, не умножившее моей нежности к ней. Пришел из берлоги — ну, и будь доволен всякой непотребностью, которую ты встретишь на пути.

Я встретил много на пути за эти двенадцать месяцев. Я встретил столько, что должен пересмотреть целиком свой основной взгляд на человеческую природу, взгляд целой жизни. И вижу, что или вся эта жизнь была сновидением простодушного человека, упорно видящего только свой светлый сон, или же за эти чудовищные несколько кровавых лет человеческая природа по существу опрокинулась, извратилась, и душа человека умерла; одни тела, слепо-телесные, блуждают по земле, дожидаясь и своей смерти, и каждое говоримое слово есть ложь, и каждая благая улыбка — обман.

Но почему я говорю об этом? Прожив полстолетия на земле, я никак не разучусь, говоря, говорить правду и, слушая людей, я никак не могу перестать верить их словам. Да, такова моя судьба. И, тысячу раз обманутый, я хочу снова верить, и не верить не могу. Леопарди в своих строках «*A se stesso*» — «К самому себе», сказал, обращаясь к собственному сердцу: «*Assai palpitasti*» — «Довольно ты билось». Но я никогда не скажу этих слов своему сердцу. Оно просто однажды перестанет биться.

Сейчас оно бьется любовью к покинутой. Я сдвигаю своею мыслью покров чудовищности, закрывший мою желанную, и вижу ее так, как я ее хочу видеть, как видел ее целую жизнь, как ее люблю.

Долгий колокольный звон. Спокойный вечер. Сейчас, высоко над моим окном, пронзительно свистят, в веселом лете, стрижи. Они так же свистят и носятся в бешеном полете и там. В желанном там — куда я не могу добраться. Я вижу ушедших в невозвратный путь. Они смотрят на меня честными глазами, и в этой душевной честности безграничная ласка. Благой труд был ими выполнен, и колосья, ими взрощенные, все еще золотятся и шелестят, они не могут быть убиты ничьей рукой.

Женщина с ликом Византийской царицы, девушка, делившая со мной первые девические зори, смелый поэт, с которым мы носились между звезд, верный друг, случайный прохожий, заговоривший со мной звучным радостным голосом, работник, свершающий свою работу, — я вижу вас отсюда, через дали пространства и времени, я вижу вас ясно и четко, хотя в глазах моих дрожат слепящие меня радуги, возникшие не из капель дождя.

Завтра. Настанет ли когда-нибудь настоящее завтра, и кто-то скажет: «Здравствуй. Жизнь вернулась».

Завтра минет год, как душа моя разлучилась с телом. Сегодня, засыпая, я буду молиться, чтобы хоть эту одну только ночь я спал спокойно и увидел во сне, что это — воскресенье, и я в России.

## ГДЕ ПРАВДА?

В воздухе, изломанном бурей, все очертания, утратив обычное свое состояние, неверны, изменчивы и ведут чувство и мысль по новым путям. Облако не облако, а туча. Рушится в небе изорванная серая стена. Из расщелин этой плывущей стены вырываются водопады огня и скаты воды. И если облако баюкает мечту, грозовая туча пробуждает всю душу к новой жизни, в которой страх и пляска, ужас и восхищение, песня и вопль существуют в одной нераздельности.

Ветки деревьев, во время грозы, не ветки деревьев, увешанные гирляндами и кружевами зеленых листьев, а бешено переплетающиеся змеи, или кривые копыя, палицы и бумеранги странных древесных духов. Даже камыш, под грозой, принимает особо воинствующий вид и шуршит не с таинственным зловещием, а с явной угрозой. Даже малые побеги травы, эти невинные изумрудные нити и ленточки, создают зыбь, которая похожа на безмерные бока куда-то уползающего удава.

Гроза прошла. Дождь пролился. Воздух освободился от долго и трудно готовившихся колдований зноя, испарений, удушья и предчувствий. Воздух прохладен и успокоенно чист. Ветви деревьев свежо ароматны. Зеленая трава, цвет надежды и залог безмерной жизни, зовет к веселью детей и стада. Отдельные капли, качая в себе на мгновение вселенскую радугу, падают с листьев и с крыши дома; они падают вниз, чтоб утонуть в земле, поящей корни, они падают вниз, чтобы сказать глазам и сердцу о связи высокого с тем, что внизу, — чтобы дать счастье краски, чтобы дать радость малого звука, чтоб шепнуть безглагольно, что есть и веселые слезы.

Как хорошо явление грозы в природе, — как оно ужасно и бесчеловечно в мире человеческом.

Революция — гроза. Не я ли сам тоже говорил это? И я? Да, и я сказал эту неверность неоднократно. Но сердце мне говорит теперь, что это неверно. Ибо гроза приходит и уходит, осиянная в начале и конце изломным огнем и тысячецветною радугой. Гроза всегда приносит утолению и правду новой жизни. Никакая революция не дает ничего, кроме того что было бы в свой час, и в недалекий час, достигнуто и без нее. А проклятия, которые всегда приводит с собой, и за собой, каждая революция, неисчислимы. Они, как те уродливые чудища, что вырвались из раскрытого сундука злой колдуньи. Они неистребимы, как полчища саранчи, которую не убьешь цепами, не оттонишь молитвой, не расстреляешь пушками, не заговоришь волхвованиями. Они неисчислимы, как песчинки убивающей пустыни, из которых желтоликие дьяволы крутят веревки и удавки для утопающих в прахе обезумленных караванов.

Брат, предай брата. Сын, убей отца. Муж, покинь жену. Эти заповеди — малая, малая доля тех отравных выдыханий, которые ползут, вот, и по моей стране, оттого что и я, малая песчинка, зазывал с целым полчищем безумных пришествие насилия во имя гибели насилия, пришествие умалишенности во имя торжества разума, пришествие лезвия, во

имя пролития злой крови, как будто не одной солнечной кровью наполнены жилы всех людей, как бы они ни заблуждались.

Из пролития крови всегда возникнет лишь новая пролитая кровь. И будет она теперь перекидываться и проливаться, то справа налево, то слева направо, и опять налево, и снова направо, пока никем не слышимый, но над всеми властный, голос Судьбы не скажет: «довольно».

Смотря в честные глаза ребенка, который из детства завтра уйдет в сознательность, я всегда скажу: «Не верь насилию ни в каком лице. Есть пути духа, которые более властны, чем нож и меч».

Дважды и трижды рассудив с своей душою свою жизнь, я знаю, что никогда более я не смогу поверить ни в какую революцию. Я их видел три, и мне довольно. Три тысячи раз, быть может, я видел таинство грозы в природе, и каждый раз оно было цельно, правдиво и жиздительно. Три раза я соприкасался с грозой человеческой, и был в ней не только зрителем, и трижды я видел, что после нескольких часов гневной правды выползали из недр человеческого духа отвратительные чудовища, изготовители гроз, нарочитые их устраиватели, углубители распада, лжецы, более всего любящие неправосудную власть, основанную на крови, слепоте и лжи.

Празднества крови истощат свою сатанинскую силу. Какую же новую песню, в день радуги, я спою о правде и жизни?

Быть может, я не спою никакой. Но ребенок, который смотрит честными глазами, поет тогда песню о верном железе, разрезающем землю, и о безумии железа и свинца, изливающего кровь.

## О ДОСТОЕВСКОМ

В русских народных сказках часто повторяется образ страшной волшебницы, которая называется Баба Яга. Обладающая тонким обонянием и способностью угадывать события на расстоянии, Колдунья Яга может носить, как ветер, там, где люди могут только ходить или бегать.

Она летает в железной ступе, в сосуде, в котором раздробляют, измельчают вещество крушащим пестом. Она живет в избушке, стоящей на птичьих ножках, на лапках существа, одаренного крыльями, и эта избушка, по заговорному слову ее, может повертываться на Запад, повертываться на Восток, смотреть своими оконцами в любую сторону света. А так как Яга и подчиненные ей ведьмы питаются душами людей, она и служащие ей делаются легкими, как души.

Если брать именно эти черты жуткой Волшебницы, увиденной загрезвившим оком русского народа, я не могу не вспомнить один из ликов бесконечно-сложной многогранной личности того гениального художника, чье имя — Достоевский. Его тонкое чутье, безошибочное чутье лесного зверя и лесной колдуньи, по малому, почти неуловимому, наме-

ку пролетевшего запаха, всегда приведет его на верный след. А по следу он пройдет безошибочно всю дорогу, пока не глянет прямо в глаза тому, кого искал и все свойства которого он разгадывает еще до того, как поставил лицо свое в уровень с лицом того, кто должен быть весь разоблачен в его магическом зеркале. Он может, как ветер, летать там, где другие только ходят или бегают, спотыкаясь.

Взяв вещество, он его дробит, сокрушает, перемалывает до полного пресущствления. И твердое зерно, в волшебстве, делается мельчайшей белой пылью; в ней играют радуги; из нее можно сделать подкрепляющий хлеб каждого дня, и по воле преобразителя вещества можно сделать из нее дьявольские рогульки для иступленного шабаша, и можно сделать те священные знамения, которые возникают в самом высоком таинстве нашей религии.

Он живет, этот чтец человеческих душ, не в простом доме; его жилище может произвольно повертываться в любую сторону света, чтоб узнать до конца и ночную тайну и дневную тайну; его окна видят вещественное и, рассекая своим светом вещественное, видят все сокровенное душ, напрасно прячущихся в извивные и плещущие завесы вещества.

И он легок в своей поступи, как душа, потому что он питается душами, вбирает в себя все, что есть в душах человеческих.

Узнав сам, много раз, величайшую боль, величайшие соблазны, самые большие возможности и самую великую невозможность, видевший смерть лицом к лицу, когда молодость кричала в нем и шептала всеми своими голосами, он, стоявший на эшафоте и считавший секунды, отдаляющие его от казни, явленной во всем ужасе, хотя и не пришедшей внешне, он, узнавший чудовищный и священный недуг, падучую, посланную Судьбой до него молниеносному пророку Аллаха, как страшный дар, помогающий узнавать подземные тайны и тайны верхней бездны, он, без вины томившийся годы на каторге и знавший там радость принять от бедной девочки копейку милостыни, — мог ли он не знать, что есть в душах человеческих. Много раз растоптанный Судьбой и узнавший, что на остриях боли так же играет радуга, как она, играя, стоит на горных высях свершившейся грозы, он, говоривший и с Богом и с Дьяволом в полной мере человеческого голоса, воистину питался душами и всем, что в душах. Страшно ли это? Вероятно, страшно. Но, как Бенвенуто Челлини, он мог бы сказать, что он не знает, какого цвета страх («io non conoscendo di che colore la paura si fusse»). И нет. Он слышком хорошо знал, какого цвета страх. Но он не страшился быть там, где страшно. Рок ему велел смотреть на Горгон, и он смотрел. Мы от него знаем, как шевелятся довременные змеи. Но самый неистовый художник Итальянского Возрождения, создавший героя, убивающего красивое чудовище, был перед этим смиренным Достоевским не больше, как ребенок. Ваятель Персея, по-детски свершая свои элементарные бесчинства и злодейства, весело полагал, что ему все позволено. Достоевский на-

чертал огненными буквами эту Сатанинскую заповедь, вопреки его воле ставшую боевым кличем нашей извращенной действительности: «все позволено». Но он знал также, как знал много раз видевший смерть и на доске проплывший морскую бездну апостол Павел, что «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Творчески прикасаясь к змеиным областям человеческой души, Достоевский всегда помнил то великое правило, которое дано русской поговоркой: «змею выше глаз не поднимай». Он не позволил змее верховодить над своим умом. Он не дал ей возможности ужалить его в глаза. Ходивший по умственным остриям и в значительной степени вышедший в своей философии Заратустры из Достоевского, Ницше неизбежно оборвался в пропасть и впал в роковое безумие потому, что он поднял змею выше своих глаз.

Имея ключ бездны, Достоевский умел ходить по краю пропасти. Он мог бы справедливо определить себя яркой формулой, данной самым могучим художником французской прозы, Бальзаком: «Наш дух есть бездна, которой любви бездны» («Notre esprit est un abîme, qui se plait dans les abîmes»). Но приближаться к краю пропасти есть или праздное любопытство и недостойное занятие, или слишком опасное дело, потому что, кто заглядывает за срывный край, того зовет голос глубин и велит ему броситься вниз. Тут нужно иметь ключ бездны. А он дается лишь тому, кто в собственной своей душе носит весь объем верхней звездной бездны. Оттого Достоевскому и не грозила та крайняя опасность, от которой предостерегает испанский мистик 17-го века Кеведо, говоря: «Внутри собственного своего тела, сколь ни малым оно тебе кажется, странствуешь ты. И если не смотришь ты зорко, куда влекут тебя собственные твои желания, потеряешься в этом малом вместилище навсегда», «para siempre».

Когда страшная Лесная Колдунья летит в своей железной ступе, под ее полетом бешенствует буря, стонет лес, теряет рассудок и мечется скотина, веет смертоносное поветрие, проходит мор с окровавленными руками и с лицом, похожим на багровый месяц, тонущий в болоте. И кто увидит Ягу, становится нем. Не это ли художнический путь Достоевского?

Он пишет романы, но это не романы, а жуткая, колдовская и прощеская летопись. Каждый роман — исполинское стихотворение в семь строф по сто страниц в строфе, и все семь смертных грехов пройдут по семи этим строфам и падут, растоптанные, пронзенные копьем святого Георгия. Люду человеческих привидений соответствует природа и обстановка городских улиц, откуда истребляюще вынута все телесное, так что самое реальное становится самым воздушным и фантастическим в неизмеримо большей степени, чем это мы видим, например, на затянутых дымкой картинах Тернера или в дьявольских видениях Брейгеля. Жители Мертвого Дома, каторжники, — дети, похожие на обиженных ангелов, — сладострастники, ум которых пляшет пляску, похожую на приступ падучей, — подвижники, совершающие земной поклон перед

убийцами, — убийцы, говорящие над трупом о бытии или небытии Бога, — юродивые, говорящие слова непреходящей ценности, — юноша, читающий звездную книгу, — влюбленные, убивающие своих любимых, ибо в этих людях любовь есть сумасшествие, — бесы, принявшие человеческую личину и пытавшиеся погубить целую страну еще полстолетия тому назад, и разрушившие всю Россию ныне, и грозящие всему стройному и живому на земле, чего не может, не хочет сознать и увидеть слепая Европа. «Вы никогда не видели красного цвета, а я вам буду говорить о нем», написал однажды в своем дневнике Достоевский. Он сдержал свое слово. И его слово — грозное предостережение. Не постоянная ли это судьба всех прорицателей, к безысходному горю тех, кто глух к предвещаниям.

Человек, видевший великие битвы и сам принимавший в них участие, не способен говорить малые слова о большом и напрасно-большие слова о малом. Таков Достоевский.

Человек, знавший крайнюю беду и несломленный своим предельным несчастьем, о чем бы он ни начал говорить, говорит как-то особенно, и душа его полна великой тишины, которая выразительнее всяких слов. Таков Достоевский.

Человек из племени, которое долго жило в широких степях или в пустынях, говоря с тобой, всегда смотрит немного поверх тебя, как бы сквозь тебя. Потому что он издавна привык смотреть вдаль. Таков Достоевский.

Были ли предшественники у русского гения? Отдельные малые зерна того, что у Достоевского есть пышная нива, отдельные семена того, что у него дремучий лес, можно найти у романтического сказочника Гофмана с его «Эликсиром Дьявола» и у гениального Эдгара По с его рассказами «Сердце — изобличитель» и «Демон извращенности». Но это так мало, что не стоит об этом говорить. Нет, у него не было предшественников, и ни раньше, ни позже не было равного в искусстве чтения душ, как не было предшественников у величайшего из исторических народов, египтян. Разве Атланты, унесшие свою тайну на дно Океана.

Если брать лучезарные имена, с одним только именем можно поставить в уровень имя Достоевского. Одно явление на свете польского гения Коперника означает, что вся звездная наука, до него существовавшая, опрокинута безвозвратно, и люди приблизились к небесной правде. Одно явление на свете Достоевского означает, что все прежние пути художественного приближения к правде душ опрокинуты и указана совершенно новая дорога. В этом Достоевский — один, как одна над побежденной грозой стоит радуга. Рядом с истинной радугой бывает иногда другая, но она призрачно-бледна и быстро тает.

Рождаясь из маленьких капель росы, из ползучих туманов, из гнетущей духоты, туча доходит до лика жуткого капища, и в ней грозное празднество похоже на шабаш веселящихся демонов. Но она кончается

семицветной радугой. А как говорят горцы Кавказа, много знающие о грозе и пропастях и горных вершинах, конец радуги всегда упирается в такое место, где зарыт клад.

## СТРАНИЦА ВОСПОМИНАНИЙ

У каждого читателя есть любимый писатель. У каждого писателя, у каждого поэта, как читателя, тоже есть любимый писатель. Говоря писатель, я разумею художника слова, прозаического или поэтического, все равно.

Когда я думаю, кто мой любимый писатель, я чувствую, что их много любимых, а было в течение жизни еще больше. К скольким чувствует вспоминающая мысль нежность и признательность! Если я попытаюсь восстановить ряд любимых от самого раннего детства, я вспомню так: Народная песня, Народная сказка, Никитин, Пушкин, «Ангел» Лермонтова, «Гадкий утенок» Андерсена, Майн Рид, Аксаков, Гоголь, Тургенев, Некрасов, снова Пушкин, весь Лермонтов, Фет, многократно Фет, Достоевский, Шелли, Эдгар По.

О, я забыл, и скольких! «Фауст» Гете, «Манфред» Байрона, многие драмы Шекспира, отдельные страницы Библии, финская «Калевала»... Всего не перечтешь. И все это входило в душу, чаровало, притягивало, внушало, сбрасывало с души пелену темноты, много спутывающих пелен. И каждого такого любимого вспоминаешь, как ласкового освободителя, как родной голос, идущий в самое сердце сердца.

Но сколько бы я ни пересчитывал имен и книг, я не вижу в этом моем списке имени Льва Толстого. Его имя всегда было окутано в моем восприятии ощущением величия, но до встречи с этим великим человеком я никогда не предполагал, что именно его я буду вспоминать с исключительной нежностью.

Я говорю о своем личном отношении к Льву Толстому и потому не могу не говорить о самом себе. Я пишу сейчас, как писал бы страницу дневника, а в дневнике человек всегда говорит, по меньшей мере, столько же о себе, сколько о том, о чем он хотел бы говорить. Это уже свойство всех дневников.

Впервые я читал лет двенадцати «Три смерти». Мне было холодно, и самые страшные повести Гоголя не вызывали в моей душе такого толчка отчуждения. Мне показался враждебным самый язык этого писателя. В нем не было ни бешеной тройки степей, ни мягких серебряных разливов тургеневского слова.

Позднее я читал «Детство и отрочество», но мне запомнились не те нежные строки, которых там много, а изумительное описание ненависти. В ненавидимом неприятно и ненавистно все.

Позднее, лет пятнадцати, я с товарищами по гимназии, на незаконном гектографе переписывал «Исповедь» Толстого, но, переписав не-



сколько страниц, отказался от этой работы, ибо мне показалось чуждым то, что я переписывал.

Еще позднее я прочел «Анну Каренину» и испытал мучительный восторг, но восторга меньше, чем мученья, неразрешимого и сомневающегося.

Я считаю, что лучше, чем «Анна Каренина» и «Война и мир», ни в России, ни в Европе, не было написано романа. Но сердце мое не хочет возвращаться к этой книге.

Если я буду пересчитывать все произведения Толстого, я должен сказать, что «Крейцерову сонату» я прочел с ненавистью. Все отношение Толстого к любви, к этой сказке двух сердец, мне чуждо. Но я не буду делать перечень несчетных поразительных произведений, из которых каждое есть грань души единственной, грань многогранника.

Была минута в моей жизни, когда не мое отношение к той или иной повести Толстого стало для меня главным при чтении нового его произведения, а возможность заглянуть в его душу и взволнованно подумывать, какой же новый путь прошел этот особенный человек с гениальными силами и исключительными возможностями достижения. Быть может, он приковал к себе внимание юной души, этот овеянный славой и окруженный зволием многих, именно тогда, когда он сделал простое маленькое движение. Он сбросил с себя барский наряд и надел рабочую рубаху.

Да, это случилось именно тогда. В великом человеке все значительно. И эта замена одной одежды другой имела весь смысл пострижения, в ней была полнота осуждения тому, чем еще живем, в ней было знамение не пришедшей, но подходящей новой действительности.

Шли годы, и, высланный из Петербурга и Москвы за прочтение перед молодежью и рабочими стихотворения против царя, я был в Крыму и собирался уехать за границу. Это было осенью 1901 года. Я часто виделся в Ялте с Чеховым, и однажды он предложил мне и только что приехавшему в Ялту Горькому поехать в Алупку, к Льву Толстому. Я помню, как мы вошли в комнату, где как будто никого не было. Вдруг из угла, полускрытого ширмами, раздался голос. Что он сказал?

— А, это вы!

Восклицание.

Но, кто раз слышал этот голос, тот не забудет его никогда. Такой голос может быть у старца — отшельника, находящегося на грани святости. Такой голос может быть у деда — пасечника, который знает лишь солнце, тишину, цветы и золотых пчел и настолько сроднился с этим своим миром, что и люди ему кажутся не больше, как пчелами.

Через несколько дней после этой краткой встречи я был у Льва Николаевича один и говорил с ним наедине часа два; может быть, один лишь час. Не то сейчас хочется вспомнить, о чем был разговор, а то, что одним взглядом, одним простым вопросом Лев Толстой умел, как исповедник, побудить к полной правде чужое сердце и заставить его мгно-

венно раскрыться. Видеть это лицо, полное внутреннего света, и не любить его — было нельзя. Слушать этот голос и не слышать полной правды внутреннего зрения — было невозможно.

И, когда перед смертью, этот великий старец ушел из родного дома, и родным ему стал ветер, вся любовь нескольких мгновений почувствовала полноту этой жажды правды, которая составляет сущность всего жизненного лика Толстого, еще недостаточно увиденного временем.

## ИМЕНИ ЧЕХОВА

Русская духовная жизнь 90-х годов 19-го века и первого десятилетия 20-го неразрывно связана с именем А.П.Чехова. Он воплотил в своей творческой личности так много художественного содержания, связанного с основными душевными качествами русских людей и отображающего тяжелую пору упадка, распада, угнетенности сердец, что его писания являются одним из лучших исторических документов, не говоря уже о высоких чисто художественных их качествах.

Но мне хочется сказать о Чехове несколько слов совершенно лично порядка. Я встречался с ним неоднократно в Москве и в Ялте и видел его в разной обстановке, — в «Большом Московском» ресторане, — в семейном кругу, — в его собственной московской квартире, где среди гостей он казался мне одиноким, — в его одинокой жизни в Крыму, где, завтракая с приятелем, он казался довольным и не нуждающимся ни в чем обществе, — я видел его беседующим, — дружески и с простотой безукоризненной беседующим с гением, в крымском доме Льва Толстого, — я снова видел его среди *его празднующих людей*, все в той же Ялте, и все таким же одиноким, каким он мне всегда казался, когда он бывал в многолюдной комнате. И я полюбил Чехова за эту черту, когда я был еще совсем молод и только что начал свою литературную дорогу. И я любил его, когда он, Горький и я, мы возвращались в Ялту, после 2-х или 3-х часов, проведенных в обществе Толстого.

Я полюбил Чехова, однако, и ранее встречи с ним. В 1889 году, 22-х лет, только что женившись и объездив Кавказ, душевно истерзанный, истомленный и понявший, что сделана какая-то, как казалось мне, непоправимая жизненная ошибка, я вернулся в родную деревушку Шуйского уезда Владимирской губернии, и в расцветном мае предался страстному изучению, в подлиннике, поэзии Гете и особенно Гейне. Злополучная судьба Гейне и блестящая, полная равновесия судьба Гете мне казались взаимно дополняющими одна другую и как-то несказанно-таинственно изъясняющими мне, чуть-чуть начинающему поэту, судьбу писателя, как писателя. Кто-то из знакомых подарил мне книжку Чехова «В сумерках». Я начал читать эту книгу с недоверием, но тотчас же отодвинулись от меня и Гейне и Гете. Я читал ее медленно, не желая

испортить впечатления торопливостью. Она меня поразила. А один маленький рассказ, — чуть ли он не называется «Колдунья» или «Ведьма», — вызвал в душе моей художественный трепет, который я и сейчас, вспоминая, чувствую, — жуть от женщины, чарою которой неудержимо привлечен.

Я что-то читал еще, тогда, Чехова. Но мне не полюбилилось это. А потом моя внутренняя жизнь совсем отбросила меня от желания читать его. Во мне самом было столько тоски и угнетенности, что каждая страница Чехова была не противоядием, а увеличением душевной отравленности. Полоса отчаяния привела к исканию смерти. Смерть показала свой лик и ушла. А из предельного отчаяния вырос такой взрыв радости, возник такой расцвет воли к жизни, к творчеству, к счастью, такая *воля к воле*, что чеховское творчество навсегда стало мне чуждым. Однако, не он сам. Тонкая верность его художественной кисти всегда чувствовалась и очаровывала. И скоро я с Чеховым встретился. Но опять только в области художественно-словесной. В 1893-м году, летом, я был в Скандинавии — в Швеции, в Норвегии, в Дании. Во время этого путешествия я написал, между прочим, весьма меня прославившее стихотворение «Чайка». Я позволю себе припомнить его здесь.

## Чайка

Чайка, серая чайка, с печальными криками носится  
Над холодной пучиной морской  
И откуда примчалась? Зачем? Почему ее жалобы  
Так полны безграничной тоской?  
Бесконечная даль. Неприветное небо нахмурилось.  
Закурчавилась пена седая на гребне волны.  
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,  
Бесприютная чайка из дальней страны.

Я прошу знающих вспомнить, когда была написана «Чайка» Чехова, а тех, кто жил в 90-х годах прошлого века в Москве, прошу припомнить, как часто две «Чайки» сопоставлялись и в жизни, и в печати.

Когда я говорю себе, сейчас, «Чехов», и духовным оком погружаюсь в прошлое, мне вспоминаются неотступно два лица, оба кроткие и полные легкой грустной шутки, и дышащие тонкой художественностью, являющие, во всем, художественное восприятие мира и жизни, а не подход к ним чисто умственный. Эти два лица — лицо Чехова и лицо Левитана. Сколько в них было пленительно-истомной, томящейся русской грусти! Сколько нежелания ничего резкого, ни движения, ни слова резкого, ни даже слишком громкого голоса, ни умствующего рассуждения! Легкая, хваткая, меткая, быстрая оценка — одним словом, одной

усмешкой, одним жестом — определение сразу, налету, и явления, и события и живого существа. Это есть художественное восприятие жизни и мира.

Чехов становился грустным и уклончивым, и даже кротко-неприятным, когда при нем начинали умствовать. Он торопился ускользнуть от разглагольствующего интеллигентски гостя к другому гостю, с которым сейчас же начинался легкий и чисто личный разговор, полный маленьких подробностей жизни и полный блеском веселой, легкой насмешки.

Если я верно помню, это было ранней осенью 1901-го года, что я довольно часто бывал у Антона Павловича в гостях в Ялте, и тогда же познакомился с Максимом Горьким, еще походившим в эту пору на человека и на писателя, и тогда же мы были втроем у Льва Толстого, а через несколько дней я был у Толстого один. Меня поразило тогда коренное различие между двумя этими литературными знаменитостями: Чехов и Горький. Один — воплощение душевного изящества, уравновешенной скромности, при полном сознании своих высоких творческих качеств, и вежливость чувства, и деликатность во всем. Другой — любопытство возбуждающий, частью даже и трогательный, но больше грубый, душевно угловатый и без надобности резкий человек — орангутанг, нет-нет да вдруг и пробуждающийся от животности, от звериности, когда при нем кто-нибудь скажет что-либо умное или занимательное. И скромный Чехов, которого Лев Николаевич и ценил и любил лично, был с Толстым поразительно ровен, и говорил с этим великаном, умевшим быть и добрым пасечником, как равный с равным, или как младший член одной и той же семьи, где в каждом члене семьи течет хорошая, честная кровь. Горький держался с Толстым то подобострастно, как неуместный пришлец, то развязно, как возомнивший о себе служка. Мои слова о Горьком резки не потому, что он сейчас играет презренную роль и не заслуживает более никакого разговора. Нет, резкие слова лишь кратко указывают на то, что было воистину, проступало не так резко, как звучит слово, но проступало с очевидностью.

В те же дни Чехов однажды спросил меня: «Вы очень цените Горького?» Я ответил: «Не чрезмерно. Но он будит, и в нем есть грубая сила». Чехов сказал, смотря перед собой как бы вдаль: «Его слава продлится несколько лет. Потом эта мишура кончится». Ошибался кроткий Чехов, но лишь арифметически. Несколько лет затянулись, но по существу Чехов был в своем приговоре ясновидящим. Давно уже Горький, как писатель, более не существует. Это страшная мертвая маска самого себя. Далеко не все из тех, кто улыбается, и говорит, и делает мертвое дело злодеяний, в действительности живые. И мертвецы умеют ходить и говорить речи.

А тонкое художество Чехова, его творчество, полное душевной боли и великой разборчивости и осторожности в выборе средств, *духовное угадывание* Чехова на протяжении десятилетий стало лишь виднее и очаро-

вательнее, и большую, все большую силу благого колдования приобретает. Верным, хоть и случайным, показателем этого является его, все растущая слава в Англии, где его любят, как родного, во Франции, даже в Америке. Чехов — тонкий, чистый, благородный художник. Он — *верный* того святилища, которое называется Искусством. И прав французский поэт, сказавший: «Seul l'Art est robuste» — «только Искусство крепко».

*Буска, 1929, 9 июля. (Опубликовано в газете «Россия и славянство», Париж, 1929, № 33, 13 июля).*

## ГЕНИИ ОХРАНЯЮЩИЕ

В каждом великом царстве есть хотя один гений — охранитель его, и обыкновенно их несколько. Кто хочет понять великое царство и приблизиться к нему, или даже войти в него, тот должен раньше понять то духовное содержание, которое символизуется одним лучезарным именем или несколькими звездными именами гениев, охраняющих великое царство.

Имя гения-охранителя есть талисман, ключ свода. Гении охраняющие — это царские врата, зубцы башен, высокие окна из цельного стекла, цветные, но разоблачающие перед достойным тайну или часть тайны. Они — углы торжественного здания, без которых здание распалось бы и которые могут быть точкой опоры для уставшего и острой преградой для напрасного лазутчика и врага.

У гениев-охранителей глаза меняют свое выражение каждую секунду, но кто хочет читать в них лишь благу легенду, тот может читать ее без конца и, прочтя незабвенные страницы, может снова читать ее и видеть, что от любовного прикосновения внимательной души и эта душа и эта легенда становятся все звучнее и богаче. И если вошедшая в великое царство новая душа, причастившаяся благой легенды, видит, что в данный миг все в царстве не так, как душа этого хотела бы, гении-охранители, одним своим присутствием, священной действительностью своего существования, ручаются, что великое царство за мигмом паденья знает торжество возрождения, и нет ему гибели.

Каждый народ имеет своих охранителей. Не нужно говорить, какие числа составляют народ, и пересчитывать все его свойства. Нужно только назвать два или три, или четыре имени, и их звездный свет скажет, что этот народ не умрет и душа его действительна и благородна.

Кто хочет сказать Эллада, тот скажет Гомер и Эсхил, Гераклит и Платон. Кто скажет Данте, Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, на того глянет не только золото и лазурь итальянской мечты, но и вся красота человеческого достоинства, вся гражданская мощь этой страны, чье

имя так нежно. Кальдерон и Сервантес, Греко и Веласкес охраняют в веках Испанию много надежнее, чем ее охраняли войска всех испанских королей. Два сладко шелестящие имени, Шекспир и Шелли, говорят о том, что холодный народ, любящий без конца завладевать колониями, имеет кроме этого сомнительного свойства и много добрых качеств и будет жить, когда историческое Завтра весьма уменьшит число этих владений.

Гении-охранители великого царства России, временно переживающего бурю и разорванность, многочисленны, но четыре имени особенно означительны и указующи в наши дни крушения старого мира и стихийного приближения новой эпохи. Два имени малоизвестны Европе, два — обошли не только все страны Европы, но и весь земной шар. Эти имена — Достоевский, Толстой, Врубель и Скрябин.

Каждое из этих имен, по-своему, в корне опрокидывает старый мир и зовет к совершенно новому строительству. Врубеля, живопись которого есть не только живопись, но и вдохновенное тайночтение человеческой души, знают те из французов, которые интересуются русским искусством. Огненную музыку Скрябина, нашедшего новые музыкальные пути, неведомые ни Вагнеру, ни высоким французским композиторам, могла создать только душа, которая сжигает целый лес, чтоб явить новое изумительное поле. Влияние Достоевского и Толстого на европейское художественное творчество уже многолетнее, и русла этих потоков широки.

В пленительном Оксфорде, где так волшебны старинные парки при колледжах, размерной походкой со мной проходил однажды под развесистыми вязыми спокойный профессор, душою живший в древней Элладе и писавший книгу об Аристотеле.

— Знаете ли, — сказал он мне, — что только раз в жизни некоторая книга не дала мне спать целую ночь и опрокинула все в моей душе. Я однажды вечером начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Я не оторвался от романа, пока не кончил, и знаю, что другой такой книги не прочту.

Кто читал Достоевского и способен чувствовать и мыслить, тот знает, что после прочтения двух-трех его книг человеческая душа видит новые очертания в старых предметах и совесть приобретает ту остроту, которая возникает в упорно оттачиваемом лезвии. И самый блестящий поэт — философ 19-го столетия, Ницше, этот жуткий и зоркий буревестник, сказал, что единственный писатель, у которого он мог чему-нибудь научиться, был — Достоевский.

Толстому, из всех русских слав, досталась наибольшая слава, и это по праву. Как и Достоевский, он силен необычно и сильнее всех европейских сверстников, потому что он не только писатель, а гениального размаха человек, всей душой переживавший те художественные слова, которые он говорил. Каждая его повесть, каждая его страница есть новый шаг его души, так же востосковавшей о новом и отвергнувшей ста-

рое, как природа зимою тоскует вьюгой и метелью о весенних цветах и силою этой лдяной снежной воющей тоски неизбежно создает тепло весны.

В 1857-м году, т.е. когда Толстой был еще почти юношей, в пламенной повести «Люцерн» он записывает:

«Седьмого июля 1857 года, в Люцерне; перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».

Толстой рассказывает, как он облакал нищего тирольца, и, скандализуя надменную челядь отеля, ввел музыканта в пышную залу и стал угощать его шампанским, по соседству с богатой четой англичан. Англичанин, оскорбленный, встал и ушел с своей женой прочь. Молодой Толстой спрашивает:

«Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему милюнной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой (за нищенство), с франком в кармане,... ходит... утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали?..»

Этот с юношеской остротой поставленный вопрос был пламенем в душе великого русского гения в течение всей его жизни и сделал все его творчество таким значительным, всю его личность такой вещью. Старый мир не захотел расслышать достаточно внимательно его голос. И тот пожар, который мог быть предупрежден, стал мировым. Пожар может быть окопан, может — распространяться.

Песня бродячего тирольца должна быть услышана не только ленивым слухом, но и благими сердцами. Она умеет быть кроткой, эта песня тирольца, как щебетание ласточки, как воркование горлицы. Она может также стать грозной, как свист разрушающего ветра, как гул урагана, который безумствует в том великом царстве, где сейчас пожар.

## НАРОД-ХУДОЖНИК

Это было в 1914-ом году. Солнце было такое же яркое и ласкающее. Более яркое для меня, потому что я проводил лето на очаровательно и величественном побережье Атлантического океана, в Сулаке Морском, *Sulak sur Mer*.

Маленький забавный городишко, ютящийся, как ракушки ютятся на влажной скале морской, над широким разбегом никогда не умолкающе-

го Океана, который поет, белеет, синее, изумрудится, гудит и, подтачивая из года в год человеческие построения, грозит, что однажды обрушит весь этот благовонный Сулак в свое всеобъемлющее емкое лоно.

О, какой он благовонный, благоговейный, ладанный, этот пронизанный июльскими лучами солнца смолистый воздух Сулака. В городе, — если это город, а не село, — и вокруг над морем, — песчаные холмы, холмики, наслоения, построения ветров, играющих песчинками. А на этих песках, кроме самовольно растущих диких гвоздик, которые здесь не алые, как у нас, а нежно-аметистовые, лиловые, живут насаженные местными жителями и насаждавшиеся еще в доисторической древности сосны, иногда стройные, по большей же части столь изогнутые, узлистые и вывернутые, что являют собою как бы древесное изображение всех прихотей и вывертов изворотливого ветра.

На каждой сосне длинные белые шрамы. Срезана местами, ссечена кора, и смолы, блестящими душистыми каплями, стекают в приспособленный горшочек. Три раза в год бывает сбор смолы, которую продают для лекарственных и иных целей. А в промежутках между сборами раненые сосны, узнавшие прикосновение лезвия, с умноженной силой духа насыщают воздух ладаном и курятся к Солнцу утонченно.

Каждый день утром, проходя мимо соседней виллы, где жила молодая чета, я спускался к морю и шел у волны, по затопленному солнечным светом песку. Каждый день, уходя дышать свежим воздухом Океана, я дышал, мимоходом, пьянящим запахом цветов. Козья жимолость, гвоздика, розы, горячие подсолнечники, — много их там, цветов, что целуются с Солнцем.

Проходя раз мимо соседней виллы, я был задержан каким-то странным звуком, без конца раздававшимся оттуда изнутри, из комнат с окнами наглухо закрытыми, несмотря на то, что было яркое теплое утро.

Это был плач — не плач, это была жалоба — не жалоба, это было причитанье какой-то птицы, потерявшей птенца, это был полудетский голос, который свивал для самого себя бесконечную пелену печальной сказки, что-то себе рассказывал, в чем-то себя убеждал, упрекал небо и звезды, делался выше, напряженнее, и снова упал в неисходную грусть, граничащую с полной тишиной, словно чье-то лицо упало в подушку, прижималось к ней, чтоб еще глуше была скорбь, чтоб никто-никто не услышал, что вот, — что вот...

Я ушел. Не понял и ушел к волне.

Но в это утро я гулял гораздо больше обыкновенного. А когда через два-три часа возвращался домой, я с удивлением услышал, что причитанье птицы, потерявшей птенца, все еще сетовало и жаловалось там в запертых комнатах.

Веселая служанка, подавая мне завтрак, сказала тем довольным торжествующим голосом, который бывает у людей, раньше других узнавших важную новость:



— Мосье знает? Объявлена мобилизация, и наш сосед-офицер уже уехал.

Бедная птица! Бедная, бедная птица с заглушенным голосом понимающей плакальщицы!

Но я недолго думал об этой молодой жене, потерявшей своего мужа и, конечно, потерявшей его навсегда. Исполинский призрак надвинувшейся войны тогда показался мне прекрасным и грозно-освободительным.

Лучше, казалось мне, вынести самую страшную, тяжелую борьбу, лучше принести на алтарь достижения самые многочисленные и тяжелые жертвы, чем без конца дышать зараженным воздухом угрозы, все время, изо дня в день, днем и ночью, знать, что враг тут, враг и насильник рядом, за стеной, кует, точит, острит свое оружие, грозит, издевается, лжет, обманывает, давит, нагличает.

При одном клике «за Родину!» каждый, кто любит свободу и красоту, каждый, кому дороги представления о вольности личности и независимости расы, о родимой земле и красивом чувстве, с радостью бросит свой дом, своих милых, свою заветную работу, и пойдет биться с врагом.

Именно таким чувством мгновенно прониклись все французы, когда раздался первый клич войны. Кого где застала эта весть, там он тотчас же прощался с обычной своей обстановкой и без малейших промедлений шел к исполнению своего великого долга. К кому весть эта приходила, когда он был на поле, он бросал то, что было у него в руках, и бежал с поля с такой готовностью и такой радостью, как будто он бежал на праздник.

В этом всеобщем единодушии и всеобщей готовности принять тяжесть, посылаемую судьбой, было что-то из древней красоты, когда не было деления на военных и невоенных, когда каждый мужчина знал, что значит война и что значит враг.

Те лица, которые были безразличными, быть может, плоскими и неприятными в вечной повторности будничной, стали сосредоточенными, просветленными, красивыми. Те люди, которые могли говорить, что война оторвала их от радости, только что начавшейся, или от труда, который был второй жизнью в жизни, в немногословном прощании не являли никакого сожаления, никакой прижимки, зажимки, утайки. И та воспитанность чувства, которая есть у каждого француза, не позволила чувствам скорби принимать чрезмерную форму. О, эти живые щебечущие женщины, знающие, как радостны поцелуи и смех, умели не плакать, прожывая любимых, чтобы любимым было легче уехать, чтобы любимый не унес в сердце воспоминанье задрожавшего голоса и опрокинутого лица, как воспоминанье последнее.

Я помню, как целый поезд с уезжавшими на войну отходил однажды из Сулака в Бордо. Я видел, как бросали цветы в уезжающих, как целовали и обнимали их, как весело посылали им прощальные приветствия. Меня поразило, что среди этого множества лиц девушек

и женщин, что отпускали к смерти своих любимых, не было ни одного лица, на котором медлила бы непомерность горя. И вот, когда поезд со свистом ушел, когда толпа стала расходиться,— как жутко было смотреть на одну молодую женщину, которая упала и которую мы понесли как труп в ближайшее кафе. Ее родные как бы извинялись перед другими.

— Ей не нужно было так надрываться и провожать его на вокзал,— говорили они.

— Она не вынесла, увидев его уезжающим.

Нет, она вынесла. Она смотрела ему глазами в глаза и дала ему радость провод. Лишь когда поезд ушел, она почувствовала, что и вся жизнь, жизнь жизни, ушла от нее, и она рухнула, как мертвая. И когда говорят, что французы — народ холодный, я вспоминаю эти провода, и вспоминаю, как смотрели несматривающие полузакрытые лунатические глаза этой юной женщины, впавшей в обморочное оцепенение.

И потом в Париже. Не красиво ли то, что столица веселья сумела сразу, без колебаний, принять спокойно-строгий лик, серьезный, суровый и чуждый веселья. Как будто самая раса французская, столь подвижно-насмешливая, столь улыбочиво-веселая, изменилась. Без скорби похорон, торжественность траура, самовзвешенность решимости, глубокое всеобщее сознание, что нужно нести и донести тяжелую полную чашу, из которой не должно уронить ни одной капли.

В том, что за весь этот год в Париже и Франции я не видел ни одной грубой и ни одной чрезмерной сцены; в том, что души умеют ходить здесь тихонько, когда это нужно, ступая чуть слышно, а губы, всегда умеющие говорить слова, умеют сжиматься в должном молчании; в том, что с восьми часов вечера каждую ночь,— столица мира,— Париж мог погружаться в глубокий мрак, и громадами темных домов своих подходил на художественно-прекрасный огромный мертвый город, являл лик потонувшего в веках молчащего Вавилона, в темной вышине которого реет и деется таинство вседружных свершений и действенного безглаголия; в том, что юные бойцы, вернувшиеся из огненных ужасов Чистилища, могут проходить по этим улицам с деревянной ногой, но лица их светлы, и я, посторонний зритель, не могу не видеть, что этот их образ лишь прекрасен,— во всем этом чувствуется, что Париж — великий город, что французы — сильный народ, умеющий в великую минуту грозы изобразить в своем лике грозное, и так как истинный художник всегда любит трудности выполнения, народ-художник не отступит перед своей исторической задачей и, отбросив дикий напор звериного, еще более четко закрепит свой лик хранителя великих заветов красоты.

## РОЗНЬ

Писать письма из Парижа в Ригу. Кажется, это совсем простое занятие. Письма, наверное, будут доходить. После долгого расстройтва самых основных человеческих взаимоотношений, хоть почтовая связь как будто беспрепятственно осуществляется между разными странами. Письмо совершит свой путь через промежуточные страны, и, может быть, нигде не будет по дороге предварительно вскрыто и прочтено каким-нибудь узаконенным почтовым согладатаем. Можно не опасаться, что чужой ненужный глаз проползет по твоим строкам, где ты попытаешься приоткрыть чуть-чуть краешек завесы, скрывающей твою душу. Притом же те два свирепые чудовища, которые называются мировая война и русская революция, до такой степени обнажили все души, что обнажаться стало совсем естественным. И однако. Потому ли, что я в чем-то из очень старого мира, который не любил обнажения, — потому ли, что всюду, уже давно-давно, я вижу, за малыми исключениями, лишь враждебные и равнодушные маски, лишь глаза, полные холодного досмотра и непонимания, я, начиная о чем-либо говорить, слышу в душе предостерегающий голос: «Говори внешне. Говори, как другие. Не говори из души своей». Но никак не могу я слушаться этого разумного голоса. Все мне кажется, что можно приоткрыть чуть-чуть оконце своей души, и меня будут слушать так, как я буду говорить, будут слушать только те, кого я хочу своим сердцем, упрямым и верящим в дороги любви.

Быть может, трудность вот этой минуты происходит оттого, что вовсе не о Париже я хочу говорить сейчас, а Моря хочу, о Море думаю, о вечно-живом, вечно-новом и неожиданном Океане. Морские волны мечты уносят меня туда, именно в Ригу, где я был только раз, но где мне было гораздо лучше, чем здесь. Незадолго перед роковым 1917-м годом я приезжал в Ригу, на два-три дня, прочесть какую-то лекцию, — какую в точности уж не помню, — и было это время совсем непохожее на проклятое теперь. Люди любили подходить друг к другу, умы раскрывались, как цветы весной, у одного человека не было другому ножа, и пули, и вражды, и подозренья. У каждого для каждого было, — у меня во всяком случае для каждого было, — открытое сердце, — без обнажения, открытая душа, — ежеминутная готовность откликнуться на зов, и было радование человека человеком, был тихий восторг задумчиво идти живописными улицами старинного неведомого города, овеянного историческими воспоминаниями и вольным духом, крепящим воздухом моря. Я был с любимой там, в чужом городе, который явился вовсе не чужим, — там, где на звучный зов мой воскликнули сердца и откликнулись.

А здесь... А теперь... Если б даже был у меня голос исполина, не почувствовал бы я, что можно людские умы и сердца собрать воедино, как собирают в богатое единство полновесные зерна ржи из тяжелого снопа, и в свежую единую красоту, пусть невзыскательную, но веселящую и живую, собирают для радости минуты, желтый к красному и синему, много полевых и луговых цветов.

Рознь и вражда — вот ключ наших дней. И еще будет расти эта рознь, и еще будет обостряться вражда неисчислимая, пока снова не повеют прыгающие ветры перед новой грозой. Дождемся ли мы радуги? Этого не скажет никто.

Если рознь обуяла умы везде, вряд ли нужно искать более законченной розни, чем та, которую, в оправе кажущегося спокойствия, можно видеть здесь среди русских людей, живущих в прохладном Париже, испокон века равнодушном к чужестранцам. Время от времени, после нового горестного разочарования, я спрашиваю себя: «Почему и зачем живут здесь русские? Мы глубинные, а здесь по всему тому, что нам неисчерпаемо дорого, скользят и проходят мимо. Зачем живу я сам здесь? Неужели меня может сколько-нибудь утолить вежливость — там, где хочешь доброты, маленькое внимание — там, где приносишь все свое? И почему, очутившись изгнанниками, русские, вместо того, чтобы сплотиться и образовать из себя духовную силу, с которой нельзя было бы не считаться, продолжают взаиморознь, взаимобрань, взаимоклеветничество, взаимоосуждение, и не могут и не умеют создать никакого духовного средоточия, к которому тянулись бы и принимали разные горести, разные мысли, разные воли, образуя единую волю, творящую?».

Я спрашиваю себя и других, но ответа на этот вопрос нет. С доисторических времен своеволие без истинной воли было нашим судьбинным клеймом. В раме своей страны и своей исторической жизни, эта черта, создав много памятных несчасть и унижений, создала и поразительные достижения, свойственные именно русскому. Среди таких достижений есть у нас протопоп Аввакум и Достоевский и много, чего не сочтешь. В раме изгнанничества, эта черта есть бессилие, бесплодие, увяданье бесполезное.

Своекорыстное расслоение. Нет слова связующего. Нет знамени, веянье которого позвало бы властно к достижениям. Нет людей, которым сердце стало бы верить, не спрашивая. А спросит, заскучает сейчас же, чувствуя неполноту, маленькую комнатную мудрость, уродливость головы, в которой будто бы и все как следует, на самом же деле глаза не во лбу, а в затылке. Видят только в бесполезной ретроспекции. Предвидеть не способны и увидеть текущего не могут.

А дни идут, и швыряют новые заботы и задачи, и готовят новую ставку душ. Если придет новая гроза, кто ее встретит? Если не придет, — в розни истлевающие воли просто истлеют до конца, до пепла, хуже, до чадного угашения.

Есть маленькие утешения в больших бедах. Дружба — одно из лучших. Но что есть дружба и что она? Если весь воздух роковых переломных дней полон движением ежеминутно меняющихся и ломающихся духовных ценностей, люди не видят друг друга и, привычно повторяя слова дружбы, даже не задевают этого великолепного кристалла. Ничего. Хорошо хоть на минуту поверить, будто с кем-то дружен.

Я иду к французскому романисту, одному из наиболее талантливых, к Эдмону Жалю. Его романы *L'Escalier d'or* — «Золотая лестница», *Le reste est silence* — «Остальное молчание», *Les profondeurs de la mer* — «Глубины моря» и многие другие, правда, написаны очень изящно, и часто он видит души. Я звоню. Вот он сам вышел навстречу и улыбается. В прихожей его, прежде чем он открыл дверь, меня приветствуют своим чириканьем заморские птицы, а когда я вхожу, мне радостно видеть длиннохвостую птичку-вдовушку, сестру тех, что я видал во время своих дальних странствий в тропических и предполярных краях. Она смотрит на меня своим черным глазком, и я сразу чувствую себя опять в Новой Зеландии, где беззаботны красивые Маори, в Австралии, где живы еще и кенгуру, и эвкалипты, в плоскогорьях Явы, где еще дымятся вулканы. Жалю мне нравится не только потому, что он приветлив и умен, и не только потому, что он единственный из французов запросто говорит и о Тургеневе, и о Стриндберге, и об Ибсене, и о всех современных русских писателях, а из Достоевского, в разговоре, читает иногда наизусть целые страницы, — нет, скажу ли, он мне нравится особенно потому, что, хоть француз, он также и мало похож на француза. Не остроумничает, не говорит внешних вежливостей, любит говорить о чем-нибудь неожиданном, и обо всем умеет сказать что-нибудь особенное, совсем не стараясь быть оригинальным и превосходным. Правда, он провансалец, в его жилах пляшет, верно, не одна капля и крови сарацинской, и крови эллинской. На столе его лежат детские игрушки, сделанные русскими кустарями. Детей у него, однако, нет. На одном из столиков, среди китайской мебели, нечто вроде маленького святилища. Мое сердце вздрагивает. Наши русские иконы. А на стене, над ними, прекрасный портрет нашего страстотерпца, мученика глубин русского духа, Достоевского, о котором он говорит, что после Шекспира не было написано ни одного создания, столь замечательного, как «Бесы».

Мы говорим, мы молчим, и нам не неловко молчать. Я встаю и хочу проститься. Он сидит и ласково-капризно говорит: «Dites!» О, это пленительное непередаваемое французское «Dites». «Скажите, ведь вы можете еще побыть у меня пять минут?» Я покорно сажусь и сижу в узорной беседе еще чуть не целый час.

Я иду один по чужой улице. Нет, моя душа не совсем одна. Хорошо человеческой душе коснуться другой души.

## БЕЗ РУСЛА

Три года тому назад я уехал из Москвы и через Эстонию приехал в Германию, а оттуда во Францию. Выхать из Москвы, увозя с собой семью, — три женские существа, приговоренные докторами и голодом к смерти, — было очень трудно, почти невозможно. Мне, однако, это

удалось, как удалось и Кусевицкому с женой. Мы ехали в одном поезде. Тогда еще не выпускали за границу никого, кроме своих. А ни Кусевицкий, ни я, мы своими не были. Наш отъезд был некоторым чудом, и как чудо мы его воспринимали. В Нарве мы еще не чувствовали себя уехавшими, или, вернее, впервые поняли, с чувством безмерной тяжести, спавшей с плеч, что мы в преддверии Европы.

Ревель — хоть и эстонский, все же еще и такой русский, по крайней мере три года тому назад, показался мне обетованным городом, именно в том смысле, в каком я когда-то радовался первому европейскому городу, в который я попадал, покинув Москву или Петербург времен, ныне исчезнувшего, царизма. Какая ирония судьбы. Я дважды был изгнанником при старом порядке. В 1902-м году за стихи о Маленьком султане я, без своего желания, провел год в Европе; и после революции 1905-го года, после написания и опубликования книги революционных стихов «Песни мстителя», я провел вне России, без своего на то желания, семь лет. Я, считавшийся и бывший революционером, снова, в третий раз, после того, как в России осуществилась революция, живу уже три года в Европе, без малейшего к тому желания. Изгнанник ли я? Вероятно, а впрочем даже я и не знаю. Я не бежал, а уехал. Я уехал на полгода и не вернулся. Зачем бы я вернулся? Чтобы снова молчать, как писатель, ибо печатать то, что я пишу, в теперешней Москве нельзя, и чтоб снова видеть, как, несмотря на все мои усилия, несмотря на все мои заботы, мои близкие умирают от голода и холода? Нет, я этого не хочу. Но нет дня, когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия, независимо от того, какое в ней правительство, независимо от того, что в ней делается и какое историческое бедствие или заблуждение получило на время верх и неограниченное господство. Я поэт. Я не связан. Я полон беспредельной любви к миру и к моей матери, которая называется Россия. Там, в родных местах, так же, как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах, и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски; это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любвей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое, как неотъемлемое свойство, как основа моей личности. Там говорят «до свиданья», «милый», «прощай», «люблю» и на лесной опушке кличет эхо, которое откликалось мне, когда еще весь мир казался добрым и вся жизнь казалась тайной.

Ах, мне тяжело. Мне душно от того воздуха, которым дышат изгнанники, косо смотрящие друг на друга и вечно друг друга подозревающие, совсем так же, как подозревают друг друга люди и там, в родных моих местах, в обезумленных, в обездоленных, в измененных. Мне душно и от воздуха летнего Парижа, где я никому не нужен и где ничто для меня не нужно.

Не думайте, что я зову кого-нибудь из уехавших или бежавших, из уехавших и оставшихся, из спасшихся от тяжких мучений, может быть, смерти, — очертя голову, вернуться в теперешнюю Россию, где право растоптано, где слово несвободно, где нет первооснов человеческой справедливости. Нет, я говорю только о себе, и да будет же мне, хоть здесь в пустыне, даровано беспредельное право быть собой, быть по-этом, чувствовать иначе, чем другие, и иначе мыслить, и иначе поступать. Я говорю только о себе и не делаю никаких общих выводов.

Здесь, в свободной, будто бы свободной, Европе я чувствую себя, душевно, таким же связанным, каким я чувствовал себя в последний год в Москве, где я жил бок о бок с навязавшимися мне жильцами, нагло распоряжавшимися в моей квартире, где я голодал, где я говорил иногда моей девочке, бессильной заснуть: «не плачь: завтра, быть может, мы поедем». Моя девочка стала за эти три года красивой девушкой, живой и остроумной. Я уже не говорю ей, — за ненадобностью, — таких утешений, а когда подходит нужда, — она все же не такая острая, — и если нет денег на настоящий обед, можно сварить суп из старого недоеденного хлеба. Но здесь мне тоже нужно произносить и перед ней, и перед другими близкими, и перед близкими-далекими, и перед самим собой много разных утешений, в которые не веришь и которые не оправдываются. Основное остается, как правило жизни каждого дня и каждого нового тяжелого месяца. Это основное: я на чужбине, я вне действительной связи с душою здешней жизни, и я вне действительной связи с моей Матерью, с моей Родиной, хоть от меня туда и оттуда до меня доходят веяния души, доходит голос сердца, которое бьется, еще живо, не умерло, но бьется тяжело, с мучением, которому исхода не вижу. И вот, чем дальше иду я по дорогам чужбины, тем слабее моя связь с моей родной, и тем чаще я спрашиваю себя с горечью: не лучше ли быть мне в тюрьме — там, чем на свободе — здесь? И действительно ли я здесь — на свободе?

Русла нет. А река без русла разве свободна? Она плещется и разливает свои воды, где и не нужно. Даже реке необходимо русло. А изгнанническая жизнь даже и не река в разливе: много беднее, гораздо менее в ней красоты и содержания.

К чему же мне прильнуть? Я поэт и человек. Нет мне места, как человеку и поэту. Сколько бы литературных достоинств ни было в моем творчестве, оно не нужно, если я не в близости с той или иной политической группой, а возможности печататься находятся в руках тех или иных политических групп. Когда в 1920-м году, в Москве, меня, по при-

чине некоего ложного доноса, будто я в стихах, где-то напечатанных, восхвалял Деникина, пригласили вежливенько в Чека и между прочим дама-следователь спросила меня: «К какой политической партии вы принадлежите?» — я отвечал кратко: «Поэт».

Это не был ответ экстравагантный. Это был простой возглас сердца. Да убирайтесь вы от меня к черту, все политические души, смотрящие на мир с политической точки зрения, не видящие, что мир больше и шире, и выше, и глубже и вовсе иной, чем говорит ваша политическая машинка, которая своим однообразным в разнообразии, скрипучим треском и шумом свидетельствует, что гармония мира вам чужда и что вы бессильны овладеть творческими силами жизни.

Мне с политическими группами делать нечего, каковы бы они ни были, коммунистические, монархические, гомеопатически-социалистические, то бишь, кадетские, и прочая, и прочая. Я человек и поэт, и потому на ваших праздниках и в сплетениях ваших немногих, но существующих возможностей и удобств — мне нет места. Иногда что-то из моих слов и настроений случайно подойдет для того или иного печатного органа. Тогда меня печатают. Потом, как бы ни было дорого моей душе то или иное художественное мое достижение, я после долгой литературной дороги, я, слышавший много раз приветственные слова от самых высоких душ разных стран земного шара, вижу от политического редактора литературного журнала такое отношение к себе, которое трогательно напоминает мне дни моей юности, когда солидные московские либералы находили, что я не лишен дарования и подаю надежды.

Не должно думать, что эти слова мои свидетельствуют о моем унижении. Нет, мне кажется, что тут унижен кто-то другой, тут в поношении нечто совсем иное, и в таком поношении, что, если об этом думать не поверхностно, можно придти в ужас. Без преувеличения и без преуменьшения, я слишком хорошо знаю, кто я. Мое, за всю жизнь отъединенное, внутреннее устремление дает мне возможность спокойно говорить о себе, как о третьем лице, и на примере этого третьего лица указать на вопиющую чудовищность некоторой неправды, которой быть не должно. И вот я свидетельствую, что, если в Москве, в течение трех лет, 1918—1920, я задыхался от невозможности быть собой и говорить полным голосом, я задыхаюсь от того же и здесь, в русском и французском Париже, по соседству с русским и немецким Берлином и людоедски-свокорыстным английским Лондоном.

Говорить все, что думаешь и чувствуешь до конца — или не говорить вовсе. Говорить только часть — или не говорить вовсе, это для меня означает, равно, пытку и душевное унижение. И я еще не смогу утверждать, что не говорить вовсе, по существу, хуже, чем говорить часть. Ибо, когда молчишь, в этом, может быть, от уменья по-настоящему молчать, странный душевный крик, который слышен даже разбойнику, слышен и действует. А когда говоришь лишь часть, невольно искажаешь правду, невольно рисуешь искаженное изображение, невольно и преступно



лжешь. Это не всегда, конечно, но так бывает. И в жизни без русла бывает слишком-слишком часто.

Зачем я все это говорю? Не зачем, а почему? Потому что, когда человеку очень трудно, он может вздохнуть и даже, хоть бы он был выносливый и сильный, застонать.

Я за всю свою жизнь убил одну только птицу. В гимназические дни, однажды, у себя в саду, застрелил из ружья певчего дрозда на рябиновой ветке. Мне до сих пор тяжело вспомнить об этом преступлении.

Я живу сейчас в мире, который, грубо захмелев от преступно излитой им нескитанной крови, только и делает, что брызжет на душу грязью и кровью и слепо убивает певчих птиц.

## ВЕСНА

*Как грустно мне твое явление,  
Весна, весна, пора любви...*

Я не помню, когда я в первый раз прочел эти бессмертные строки Пушкина; я начал читать его, дивясь и восхищаясь, еще в детстве. Но я помню и знаю, что я на всю жизнь их запомнил, их и дальнейшие строки, когда мне было шестнадцать лет, когда в конце марта родная река в моем родном городке уже готова была вскрыться, чтоб нести свои вздувшиеся воды в другую реку, впадающую в Волгу, а Волга уж понесет их далеко через целую половину России, до самого моря, до зеленого Каспия. Все небо тогда было тяжелым от тревожных облаков синевато-свинцового цвета. Весь воздух внушал жажду любви, нежной близости с желанным существом. И, быть может, желанное существо было, но было далеко. И быть может, желанное существо было только в воображении и чудилось в каждой женщине, в каждой девушке, на одну минуту, чтобы сейчас же ранить мое сердце внутренне сказанными или только почувствованными словами: «Нет, не то. Нет, не она». Голуби ворковали без умолку. Голуби кружились около голубок, всплескивая своими вольными крыльями, улетали, прилетали, ворковали, любили, любили, рассказывали свою сказку, манили и мучили сердце, которому в этой сказке не было места. За окнами слышались знакомые голоса, но они были по-новому задорные и свежие. Иди же, сердце, и люби. Любовь повсюду, она ждет. Но неискушенное сердце никуда нейдет без зова, оно слишком, оно слишком робко. Вот стает снег совсем. Тогда. Но тогда, пожалуй, еще труднее будет найти слова, подобные песне. Разве у жаворонка научишься смелости. Ведь он с песней летит прямо к солнцу. Разве у соловья научишься нежному упорству. Ведь целую ночь он поет, и слушает его не только его любимая, но целый лес.

Весна всюду и всегда хороша. Она — раскрытие тайны. Она — причащение и приникание к силам подземным, земным и небесным. Весна — тот праздник, для которого стоит тосковать и томиться много месяцев, много зим, вынести много изгнаний.

И много весен я узнал в самых разных местах земного шара. Но, если встречать весну не в русской деревне, быть может, лучше всего ее ласково встретить во всемирно прославленном Париже, ибо весною этот город вдвойне умеет быть чаровником.

Умеет? Неужели я так сказал? Нет, умел. Больше не умеет, ни весной, ни зимой, никогда. И не только Париж. Всякая столица, любой город. Города, достойные зваться городами, давно сошли с ума. Выйди на улицу, пойди на Большие бульвары, которыми Париж гордится и даже кичится, доберись до знаменитой Площади Согласия, с ее египетским каменным псалмом Солнцеклонничества, стройным обелиском. Эта Площадь Согласия великолепна, как безмерная бальная зала. Бульвары сияют пышностью и роскошью витрин, ликуют всегда от некончающегося движения и деятельности. В каждой улице, — это прекрасно описал еще Бальзак, а до него и другие, — есть свое отдельное собственное лицо. Но нигде в Париже не спасешься от противного мерзостного автомобильного гудка. Всюду бешено несутся нелепые, вонючие, гремучие ящики, все назначение которых умножать сумасшедшую быстроту передвижения едущих, с полным стеснением свободы и спокойствия идущих. Перейти с тротуара на тротуар — событие, не всегда кончающееся благополучно. Нет дня, чтобы в Париже не был кто-нибудь ушиблен или убит автомобилем. Ведь эти гремучие подвижные ящики всегда пьяны своим ненужным бешеным бегом к выдуманному ложным целям. Да если бы даже и не швыряли они прохожих о камни, если бы они не уродовали и не убивали прохожих, каждую минуту стерегущихся и думающих с насупленными бровями, как бы это пройти, не оглядываясь, две сажени, — разве именно вот это извращение такой естественной и необходимой, и красивой вещи, как прогулка и ходьба, соединение ее насильственное со страхом, с опаской, с оглядкой, не есть нечто, подобное кощунственному устрашению, создаваемому в России для всех честных людей современными тамошними опричниками? Ты хочешь порадоваться весеннему дню и солнечному свежему воздуху, а тебя заставляют воровски перебегать улицу, дудят тебе в уши и справа, и слева, и спереди, и сзади, и вдобавок, в награду за твой рабский быстрый перебеж, пускают тебе прямо в лицо клуб невыносимой вони, преследующей тебя не одну минуту.

Я люблю Париж давней преданной любовью. Но, говоря о Париже в лице положительном, я всегда разумею тот прежний Париж, который я узнал двадцать пять лет тому назад.

Какая красота — конь, это — самое красивое существо живое. Какое счастье — жить в гигантском городе, который, кроме шума, любит также тишь, и в самых громких уличных звуках соблюдает равномерный

музыкальный строй. В топоте копыт многих-многих лошадей есть мерная музыка, правильный размер стиха, написанного Лермонтовым, написанного мной, — не свихнувшегося стиха, измышленного современным взыскательным стихотворцем. И прежний Париж, как прежняя Москва, две мои любимые мировые столицы, любили лошадей, уважали коня. Нигде в мире, когда-то, — я не видал таких прекрасных коней в больших числах, как в Москве и в Париже. Разве еще в Аравии.

Когда Аллах, создав красивый мир и увидав, что не хватает в нем чего-то самого красивого, возжаждал еще минуты верховного творчества, он протянул свою десницу и схватил горсть воздуха. Так возник арабский конь. Ветер есть воля, полет и песня. Сколько ни слушай, ветер не надоест никогда, ибо его песня — божеская и бесконечная. Сколько ни слушай волнующую музыку, которая таится в конском ржанье и в топоте копыт, не устанешь и не насытишься этим достаточно, потому что тут душа проникает к источникам жизни, к таинству великого единения человеческого и звериного, человеческого и божеского. А машина — от человека. Тут тавтология. Скука кружения в самом себе, в себе механическом, в себе негармоничном, в себе мертвом. Машина — от человека, и еще от Дьявола. Поэтому-то каждая машина, раз возникши, непременно хочет, в сумасшедшем скрипучем усилии, расти до уродливых размеров, часть превратить в целое, и, будет ли это автомобиль или граммофон, машина издает только подлые звуки и говорит поддельным языком.

Скромная ли гнедая лошадь простого извозчика, этого «коше», который в данное время встречается раз в несколько дней, — или могучие тяжелые фламандские грохотуны, похожие на наших битюгов, — или тонконогие выездные кони, танцующим бегом уносящие нарядную коляску в Булонский лес, не оскверненный ничем грубым, — все было изящно в соединении человека со зверем тогда... тогда... когда манило любовью нежное и грустное явление весны.

Первые благовестия весны в Париже. Они всегда бывали одни и те же, они не изменились и теперь, только стали менее четкими: больше стало того, что их портит, видоизменяет. Три вести весны. Домчавшийся издадека волнующий ветер с моря. Он доносится неотрицаемым свежим дуновением иногда и зимою. Но зимой в нем нет чего-то, такого зовущего и освободительного. А вот повеет ветер с моря в конце февраля или в начале марта, и чувствуешь, что зима прошла, хоть будет еще идти дождь с градом и будет еще не морской, а земной ветер долго петь по ночам в твоём камине, шелестя железной заслонкой и горько упрекая твою душу, что бросил ты родную землю, что там по-иному поет ветер.

Вторая весть — пение канарейки на улице. Едва только настанет первый теплый день в Париже, дают подышать этим солнечным птичкам свежим некомнатным воздухом. Парижанка ставит клетку с канарейкой на балкон или вывешивает ее за окно, и заливается весело птич-

ка с теплых островов. Как хорошо тогда идти по улице и слышать этот переливчатый птичий голос. Улица перестает быть улицей. Кажется, что детство вернулось, и прохожие, даже при сдержанности французов, при их осторожности с незнакомым, нет-нет да и улыбнутся один другому, идя куда-то по делам и неожиданно услышав такой неделовой звук, в таком самозабвенном ликовании.

И третья вещь — скромные букетики подснежников. Не в цветочных магазинах, где цветы не переводятся в Париже круглый год, и всегда богаты и краской и запахом, — нет, беленькие, бедненькие, тонкие букетики в руках зазябшей девчонки с выразительными просящими глазами. Несколько медных монет за цветы, которые первые захотели означить праздничную черту в годовом счете перемен. Эти цветики похожи на те медные монеты, за которые в нашей родной церкви мы в детстве покупали и ставили перед любимой иконой тонкие восковые свечечки.

Дни идут, и солнце становится сильнее. Солнце проснется и в нашей жизни, такой убогой. Солнце приведет к нам нашу Пасху, нашу волю, наше возвращение, наш поцелуй с помнящими нас и любящими.

Я ушел от людей. Выбрал час, когда мало кого можно встретить в Булонском лесу. Дошел до своей любимой скамейки, у меня есть такая. Я сижу на ней, тихонько радуясь, и смотрю на спокойную воду длинного озера. Мне, конечно, нравятся белые лебеди, и Белого Лебедя я пропел давно. Но хочется мне признаться, что утки и селезни мне милее. Они уютней и роднее. У них доверчивые, давно мне знакомые глаза, и такой довольный, радостью исполненный голос. Помню я их, этих уток. В моей родной деревне, на пруду, я радовался им: я хожу по берегу, а они плавают. Радовался цветистым перьям селезня. Помню, что десятки лет после детства я увидел изображения этих родных птиц на стенах египетских саркофагов. И вот, едва я это подумал, как одна утка, плескавшаяся в воде озера совсем близко от меня, взлетела, взлетела еще выше, поднялась очень высоко и полетела вдоль озера, как будто направляясь к солнцу. На мгновенье озадаченный селезень крикнул своим надводным голосом и сорвался, отделился от водной глади. Вон уж он где в погоне за своей любимой. Догонит, сейчас догонит, догоняет по воздуху, нежно и стремительно потеснит ее в полете, и вместе упадут они в родимую воду для слитной ласки весеннего счастья.

Моя мысль тоже улетела с этими существами, любящими воду и воздух, воду, которая есть зеркало для глаз, и воздух, который создает вихри. Жесток был тот вихрь, который унес меня далеко от родных мест. Но я слышу, как ветер, провев над цветущими вишнями и яблонями, тихонько треплет мои волосы, овеивает щеку и шепчет: «Будет же грустить: вернешься».

## ГДЕ МОЙ ДОМ?

Это было в Москве, в 1920-м году, в один из тусклых зимних дней. И небо и земля были с утра затянуты всеразлитой дымкой, той странной и жуткой белесоватостью, которая чем-то напоминает жуть бельма, лишающего человеческий глаз нашего лучшего дара — способности видеть.

Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полураскрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване, в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами, — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию, — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близкие мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мною мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегущая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготвлено.

Дятельница пшена проснулась и начинает кашлять. Она кашляет долго и с надрывом. У нее чахотка, и доктор говорит, что, если я не увезу ее за границу, она к весне умрет. Но на что же и как же уехать за границу? Я слышу в этом кашле какой-то посторонний звук, он кажется мне плачем. Я встаю, подхожу к письменному столу, отпираю один из выдвижных ящиков и вынимаю оттуда квадратный кусочек сахара.

— Съешь, — говорю я.

Она с жадностью съедает кусок сахара, и кашель прекращается.

Это вчера, проходя по Арбату, я купил за непомерные монеты, у какой-то алчной бабы, три кусочка сахару весьма грязноватого цвета. Я знаю, что кусок сахара лучше всякого лекарства помогает от кашля. Я тайком запер к себе в стол эти три куска. Остальные два пригодятся ей же, когда она, проснувшись, опять будет задыхаться от кашля.

Дятельница пшена, ободрившись, встала, оделась и так как у нее нет ни валенок, ни ботинок, она свои ноги, обутые лишь в тонкие туфельки, с тщанием и с большой находчивостью, начинает обертывать в какие-то неправдоподобные обмотки. Я смотрю, и в тусклом свете зимнего утра эта бледная женщина с исхудалым лицом кажется мне лунатическим призраком. Все ее движения — сомнамбулические, и я сказал бы — нелогически прямолинейные. Обмотки на ее ногах вызывают

во мне чувство необъяснимого суеверного страха. Быть может, это оттого, что маленькие женские ноги стали непомерно большими? Нет, тут что-то другое. Я неотступно начинаю думать о том, как некоторые убийцы, будучи не в силах смотреть на свою жертву, тщательно укутывают ее, закрывая лицо убитого простыней. Я вспоминаю также, что, перед тем как человека вешают, его голову просовывают в какой-то, скрывающий его от мира, колпак, — говорят, похожий на капюшон инквизитора-монаха.

Дверь открылась и закрылась. Через минуту я слышу под окном хруст удаляющихся шагов.

— Мирра, ты спишь? — спрашиваю я девочку.

— Сплю, — слышится вялый, медленный, тянущийся ответ. И каждая из четырех букв этого короткого слова, с непомерным удлинением последнего гласного звука, начертывается для меня в холодном воздухе каким-то звуковым зацеплением. Мне начинает казаться, что мы где-то далеко на Севере, мы отправились к Полюсу, нас затерло льдами, у нас цынга, нам не может помочь никто, мы забыты, и только метель подает свой голос, бросая комья и хлопья снега в заледеневшее окно, с его морозными узорами.

Я встаю. Я твердо знаю, что единственная возможность не погибнуть и не пригнуться до земли в беде, это — решительное сопротивление. Несмотря на то, что в комнате несколько градусов ниже нуля, я снимаю с себя рубашку и моюсь с ног до головы. Я делаю это каждый день и только этим поддерживаю в себе бодрость и какое-нибудь жизненное подобие. Да и оставаться дольше в постели очень уж неуютно. Жители соседних комнат, наглые жильцы, самовольно поселившиеся в моей квартире, люди весьма вульгарные, подняли свой гвалт и как будто нарочно стараются быть тем более громкими, чем менее они имеют на это какие-нибудь логические основания.

«Мой дом, — говорю я про себя не без горькой веселости. — Хотел бы я от кого-нибудь узнать, где мой дом, и где мои — могли бы быть со мной, не как собаки, которых, за неимением иного, загнали нескольких в одну холодную собачью конуру, и вот они там повизгивают, не восхитенные идеальным морозным воздухом».

А все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах.

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшний

обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нуждающиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, торопливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.

Вороны каркали, перелетали и перескоком приближались к пиршеству, но не решались приблизиться вплоть.

Эта злая примета прогнала мою веселость и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бежит, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас, — раздался веселый голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:

— Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, — сказал я. И, взявшись за руку, как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под угрозо-звившим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, — хотя я мало это чувствую, что до меня, не видя вообще решительно никакого смысла во всем, что совершается на Земле.

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит:

— Хотите? — при этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготовлять то, что называется цыгаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю:

— Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат.

Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет есть.

Марина живет одна со своей семилетней девочкой Алей, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я только получал когда-либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий:

Корни сплелись,  
Ветви сплелись.  
Лес любви.

— Что нового, Марина?

— Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне не нужны. Хорошие такие. Они освобождают дом от ненужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят — мешают спать своим боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге.

Марина — героическая женщина. Уже более двух лет ее муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, потерялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив он или убит. Но спокойно-благословенно она верит, что он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с любимым.

— А у вас что нового?

— Все то же. Помрут мои птицы.

— Увезите, увезите их. Уезжайте отсюда.

— Как же уедешь, Марина, из этого Ада, который держит? И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом мире? Как ни плохо здесь, Россия — мой дом. Я не мыслю себя вне Москвы.

— Вы вернетесь потом. Нужно спасти их.

Мне хочется сказать: «Почему же вы сами не бежите и не ищете своего Сергея?» Но язык мой отказывается выговорить эти слова, и я начинаю бессвязно рассказывать Марине о павшей лошади, которую пожирают люди и собаки под карканье завидующих голодных ворон.

Я возвращаюсь домой, Аля идет со мною:

— Я хочу навестить Миррочку.

Метель стихла. В потеплевшем и успокоенном воздухе медленно падают и крутятся пушистые белые хлопья и целым дождем, но не влажным, отдельные звездочки снежинок.

Снежинки вьются и падают на ресницы. Але трудно смотреть. Ее маленькая ручка в моей руке. Она улыбается.

Вдруг она поднимает мою руку к своему лицу и прижимает ее к своим губам.

— Каждый раз, когда я вас вижу, — говорит она вполголоса, — я вижу вас высокого принца.

— Аля, — отвечаю я, — хотите выйти за меня замуж?

— Этого не может быть, — говорит она.

— Почему?

— Я слишком маленькая.

— А когда вы вырастаете?

— Этого не может быть, — настаивает она загадочно.

— Но почему же?



Она не хочет говорить.

— Потому что я буду тогда слишком старый?

Аля смотрит застенчиво и лукаво.

— Нет, вы, пожалуй, тогда не захотите.

Мы улыбаемся друг другу очень доверчиво и ласково. Снежинки совсем опушили нас, и дома кругом стали красивые и сказочные.

— И потом,— добавляет Аля с большой серьезностью,— вы слишком мало меня знаете. Вы не знаете, какая я в домашнем быту.

Но мы уже пришли в мой Николо-Песковский переулок. Нас угостят сейчас теплой пшенной кашей и даже еще чем-то. Аля щебечет с Миррой, у них свой особенный язык, и много-много маленьких важных тайн, больше, чем бывает цветов в саду и птичек в лесу.

Почему, когда столько ласки и нежности в душах человеческих, столько слепой ярости и безумного уродства в человеческих делах? И почему опять за стенами дома завертелась бешеная вьюга,— закружились, угашая преждевременно этот короткий зимний день, слепящие белые пелены, белесоватые саваны незрячего снега, который идет, идет без конца?

Не хочу я сидеть дома. Каждый чужой дом лучше, если в душе неизбывная тоска. Я условился с Мариной встретиться вечером на Тверской в Кафе поэтов. Но до этого слишком долго ждать.

Я помню, я ушел в тот вьюжный день к переводчику «Песни песней» Эфросу. Мне нравилось время от времени бывать у него. Мне нравилось, что он никогда не говорил тех бесполезных слов о неизбежном, которые так любят говорить русские. Я выносил из каждой беседы с ним освежение, душевный отдых. Я брал у него также французские и итальянские книги по искусству. Их у него всегда было много.

Эфрос напоил меня чаем. Не показывая, что он видит тоску, которая меня истязала,— «лучшее внимание — невнимание», гласит древняя китайская поговорка,— он заговорил мое тоскованье умными словами, такими, которые становятся почти нежными оттого, что они во время и у места умны. Он, кроме того, прочел мне свой новый перевод «Плача Иеремии», а прочтя, пропел это волшебное произведение по-древнееврейски.

Эта песня на красивом древнем языке, донесенном благоговейно через несказанно-трудные тысячелетия, эта песня-сказ души, эта песня-заговор и пророчество, сливаясь неуловимо с песней зимнего ветра в трубе, исцелила израненное сознание, и когда я шел по улице, простившись с гостеприимным, мое близкое и личное отошло от меня, но мне казался близким и живым ночной воздух белесоватой зимы, казались враждебными, но не страшными, громады темных домов.

Вот тогда-то, идя по темной Бронной и видя, что свет над Тверской красноват, как зарево далекого пожара, я встретился с той, кого не знаю, как назвать и как определить.

На улице не было ни одного прохожего. Никого, кроме меня. Я шел и казался самому себе привидением, идущим по древнему погосту, где когда-то протекла, как широкая полноводная река, замкнутая в цветущие и высокие берега, целая богатая жизнь, с мыслями, красками, песнями, достижениями, дерзаниями необманувшими, улыбками близкими, счастьем высоким и длительным, с верными, до сердца доходившими, угаданными. Протекла, истекла, разлилась, обмелела, иссякла, обнажила безводное дно, раскинула вправо и влево и повсюду песчаную равнину, безжизненное мертвое пространство. И только белое облако вверх, белое, как известка, и измятым комком, криво повисшим бельмом, белая Луна.

Вдруг, как из-под земли, как из воздуха, предстала предо мной эта странная женщина. Я не видел, чтобы она вышла откуда-нибудь, я с ней встретился лицом к лицу так сразу, как будто она стояла и ждала меня незримая, и стала видной, когда я подошел к ней вплоть.

— Дяденька, где мой дом? — спросила она меня, и я похолодел.

Она была одета, как крестьянка, которая собралась в дальний путь. На ней были валенки, длинный темный кафтан, похожий на монашеское одеяние. Голова была укутана в большой теплый платок, и я мгновенно вспомнил обмотки на зябнувших маленьких ногах, которые с хрустом ушли по снегу, и вспомнил, что некоторые убийцы укутывают в простыню голову убитого и что голова того, кому суждено быть повешенным, должна предварительно быть отъединенной от мира, скрытая слепым колпаком.

Я не знал, красиво или некрасиво это лицо, но я знал, что я не могу не смотреть на него и что оно молодое.

— Дяденька, где мой дом? — повторила она голосом, в котором была доверчивость и слышался упрек.

Она произносила все слова так мягко и неважвенно, как будто не все звуки она могла произносить; что-то младенческое было в этом говоре, точно это был ребенок, который еще не совсем овладел речью. И первое слово у нее выходило «дяинька».

Онемев от изумления и еще какого-то другого непонятного мне чувства, я невольно продолжал свой путь, а она, слегка потрагивая меня правой рукой и тотчас же ее отнимая, пошла совсем рядом и упорно повторяла свой вопрос.

— Я не знаю, — сказал я с беспричинным отчаянием.

— Ты знаешь, дяденька, он тут совсем близко. Покажи мне, где мой дом.

Ее лицо было странно, но совсем не безумно. И что было не странно в тот час и в том месте, в безумленном жестоком городе, где кто-то кого-то убивал и кто-то кому-то улыбался, в этом белесоватом сумраке ночи, под измятым комком белой Луны?

Мы прошли мимо ряда домов. Никого кругом. Ищущая рука тихонько прикасалась к моей и убегала тотчас же. Мне казалось, что мы

два лунатика и идем по закраине крыши высокого дома. Вот-вот мы сейчас сорвемся.

— Где мой дом? Где мой дом? — повторяла неведомая, и детская жалоба пробивалась через ее неясственный говор, как через снег пробивается иногда слишком рано зазеленевшая былинка, которая через минуту замерзнет.

— Я не могу тебе помочь, — воскликнул я, схваченный тоской. — Я не знаю.

— Как тебе не стыдно, дяденька, — послышался упрекающий голос, и стыд и указание на пренебреженную ответственность были в этом женском голосе, вместе с совершенно детской доверчивостью.

И, о чем-то сосредоточенно подумав, она добавила:

— Ведь он не там, куда ты идешь.

Какой-то вихрь закрутился у меня в голове. К сердцу хлынула горячая волна, и мне стало жутко от того чудовищного желания, которое внезапно возникло во мне. Чудовищное ли? Не святое ли? Я не могу этого теперь определить. Около нас было много домов с открытыми воротами. Мне захотелось, — неотступно, — привести эту женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом на крыльцо и обнять ее. И обнять ее страстно. Самозабвенно.

В эту самую секунду из соседнего двора вышел какой-то человек. Было темно, и я не видел, кто бы это мог быть. Но знала ли она его или не знала, — только немедля, так же, как сразу она подошла ко мне вплоть, сразу, точно меня не было больше на свете, она, отвернувшись от меня, с доверчивостью подбежала к этому человеку и начала что-то быстро говорить ему. Ее говор, неясственный, когда она говорила, идя рядом со мной, на расстоянии этих нескольких шагов стал для меня совершенно невнятным. Вышедший человек, показавшийся мне стариком, тихонько потрепал ее рукой по плечу, и они оба исчезли в темном дворе.

Я постоял с минуту. Я чего-то еще ждал. Все было тихо. Я пошел вперед.

Да, я пришел в Кафе поэтов. Но, увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула:

— Братик, что с вами?

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали как будто смотреть внутрь самих себя.

— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам придти. Должна. Ведь это же к вам приходила — Россия.

## СОДЕРЖАНИЕ

Белый сон . . . . .	4
Факел в ночи . . . . .	8
Завтра . . . . .	11
Где правда? . . . . .	14
О Достоевском . . . . .	15
Страница воспоминаний . . . . .	19
Имени Чехова . . . . .	21
Гении охраняющие . . . . .	24
Народ-художник . . . . .	26
Рознь . . . . .	30
Без русла . . . . .	32
Весна . . . . .	36
Где мой дом? . . . . .	40

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич

ГДЕ МОЙ ДОМ?

*Очерки*

Составитель А. Д. Романенко

Редактор Г. А. Елин

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

---

Сдано в набор 12.12.90. Подписано к печати 21.01.91.  
Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28.  
Уч.-изд. л. 3,14. Тираж 97000. Заказ № 3157. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ КНИЖКИ,  
ВЫШЕДШИЕ В ЭТОМ ГОДУ  
В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»:**

О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;

Е. РЕЙН «Непоправимый день»;

В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;

С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;

Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие  
годы»;

И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;

Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница».